Бремя страстей человеческих

Автор:
Сомерсет Моэм

Бремя страстей человеческих

Сомерсет Моэм

Классик литературы XX столетия, английский писатель Уильям Сомерсет Моэм – автор не сходящих по сей день с подмостков пьес, постоянно переиздающихся романов, великолепных новелл и эссе. Роман «Бремя страстей человеческих» во многом автобиографичен, это история молодого человека, вступающего в жизнь. На долю героя романа – Филипа Кэри – выпало множество испытаний. Рано осиротев, он лишился родительской заботы и ласки, его мечта стать художником так и осталась мечтой, а любовь к ограниченной порочной женщине принесла одни страдания. Но Филип мужественно прошел через все уготованные ему испытания и сумел найти в жизни свое место.

Сомерсет Моэм

Бремя страстей человеческих

Роман

W. Somerset Maugham

Of Human Bondage

Печатается с разрешения The Royal Literary Fund и литературных агентств AP Watt Limited и The Van Lear Agency LLC.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© The Royal Literary Fund, 1915

© Перевод. Е. Голышева, наследники, 2011

© Перевод. Б. Изаков, наследники, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Глава 1

День занялся тусклый, серый. Тучи повисли низко, воздух был студеный – вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив – оштукатуренный, с портиком – и подошла к детской кроватке.

– Вставай, Фи?лип, – сказала она.

Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся.

– Тебя зовет мама.

Отворив дверь в комнату на первом этаже, няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе.

– Тебе хочется спать, детка? – спросила она.

Голос у нее был такой слабый, что, казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели.

– Дайте ему побыть со мной хоть немножко, – простонала она.

Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу; взяв правую ножку, она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притронулась к левой ноге. Она заплакала.

– Что с вами? – спросил врач. – Вы устали.

Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Доктор наклонился к ней.

– Дайте его мне.

Она была слишком слаба, чтобы запротестовать. Врач передал ребенка на руки няньке.

– Положите его обратно в постельку.

– Сейчас.

Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь.

– Бедняжка! Что с ним теперь будет!

Сиделка пробовала ее успокоить; выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И, хотя кровать была отгорожена ширмой, женщина догадалась, что он делает.

– Мальчик или девочка? – шепотом спросила она у сиделки.

– Тоже мальчик.

Женщина ничего не сказала. В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной.

– Филип так и не проснулся, – сказала она.

Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс.

– Пожалуй, пока я здесь больше не нужен, – сказал он. – Зайду после завтрака.

– Я вас провожу, – предложила сиделка.

Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился.

– Вы послали за деверем миссис Кэри?

– Да.

– Как вы думаете, когда он приедет?

– Не знаю, я жду телеграмму.

– А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать?

– Мисс Уоткин согласилась взять его к себе.

– А кто она такая?

– Его крестная. Как по-вашему, миссис Кэри поправится?

Доктор покачал головой.

Глава 2

Неделю спустя Филип сидел на полу гостиной мисс Уоткин в Онслоу Гарденс. Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших пуфа. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол.

– Ах ты, шалун! Мисс Уоткин рассердится.

– Ку-ку, Эмма! – сказал он.

Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки.

– Мы домой поедем? – спросил он.

– Да, я пришла за тобой.

– У тебя новое платье.

Шел 1885 год, и женщины подкладывали под юбки турнюры. Платье было сшито из черного бархата, с узкими рукавами и покатыми плечами; юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ.

– Почему же ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? – не выдержала она наконец.

– Я позабыл. А как поживает мама?

Теперь уже она могла ответить:

– Твоей маме хорошо. Она очень счастлива.

– Да?

– Мама уехала. Ты ее больше не увидишь.

Филип ничего не понимал.

– Почему?

– Твоя мама на небе.

Она заплакала, и Филип, хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма – высокая костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица – была родом из Девоншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора. От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда постигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя она взяла себя в руки.

– Тебя дожидается дядя Уильям, – сказала она. – Сходи попрощайся с мисс Уоткин, и мы поедем домой.

– Я не хочу с ней прощаться, – ответил он, почему-то стыдясь своих слез.

– Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу.

Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной доносились голоса. Филип в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами, и подумал – мальчику было всего девять лет, – что, если он к ним зайдет, они его пожалеют.

– Я все-таки пойду попрощаюсь с мисс Уоткин.

– Вот молодец, сходи, – похвалила его Эмма.

– Ты сперва им скажи, что я сейчас приду.

Ему хотелось получше обставить прощание. Эмма постучала в дверь и вошла. Он услышал, как она говорит:

– Филип хочет с вами проститься.

Разговор сразу смолк, и Филип, прихрамывая, вошел в кабинет. Генриетта Уоткин была краснолицая, тучная дама с крашеными волосами. В те дни крашеные волосы были редкостью и привлекали всеобщее внимание; Филип слышал немало пересудов на этот счет у себя дома, когда крестная вдруг изменила свою окраску. Жила она вдвоем со старшей сестрой, которая безропотно смирилась со своими преклонными годами. В гостях у них были две незнакомые Филипу дамы; они с любопытством разглядывали мальчика.

– Бедное мое дитя, – произнесла мисс Уоткин и широко раскрыла Филипу объятия.

Она заплакала. Филип понял, почему она не вышла к обеду и надела черное платье. Ей было трудно говорить.

– Мне надо домой, – прервал наконец молчание мальчик.

Он высвободился из объятий мисс Уоткин, и она поцеловала его на прощание. Потом Филип подошел к ее сестре и простился с ней. Одна из незнакомых дам спросила, можно ли ей тоже его поцеловать, и он степенно разрешил. У него хоть и текли слезы, но ему очень нравилось, что он причина такого переполоха; он с удовольствием побыл бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает, и сказал, что Эмма, наверно, его дожидается. Мальчик вышел из комнаты. Эмма спустилась в помещение для прислуги поговорить со своей знакомой, и он остался ждать ее на площадке. До него донесся голос Генриетты Уоткин:

– Его мать была моей самой близкой подругой. Никак не могу примириться с мыслью, что она умерла.

– Не надо было тебе ходить на похороны, Генриетта! – сказала сестра. – Я так и знала, что ты вконец расстроишься.

В беседу вмешалась одна из незнакомых дам:

– Бедный малыш! Остался круглым сиротой – вот ужас! Он, кажется, еще и хромой?

– Да, от рождения. Бедная мать так всегда горевала!

Пришла Эмма. Они сели на извозчика, и Эмма сказала кучеру, куда ехать.

Глава 3

Когда они подъехали к дому, где умерла миссис Кэри – он стоял на унылой, чинной улице между Ноттинг-Хилл-гейт и Хай-стрит в Кенсингтоне, – Эмма повела Филипа прямо в гостиную. Дядя писал благодарственные письма за присланные на похороны венки. Один из них, принесенный слишком поздно, лежал в картонной коробке на столе в прихожей.

– Вот и Филип, – сказала Эмма.

Мистер Кэри неторопливо привстал и обменялся с мальчиком рукопожатием. Потом подумал, нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Это был человек невысокого роста, склонный к полноте. Волосы он носил длинные и зачесывал набок, чтобы скрыть лысину, а лицо брил. Черты лица были правильные, и в молодости мистер Кэри, наверно, считался красивым. На часовой цепочке он носил золотой крестик.

– Ну, Филип, ты теперь будешь жить со мной, – сказал мистер Кэри. – Ты рад?

Два года назад, когда Филип перенес оспу, его послали в деревню погостить к дяде-священнику, но в памяти у него сохранились только чердак и большой сад; дядю и тетю он не запомнил.

– Да.

– Мы теперь с тетей Луизой будем тебе вместо отца и матери.

Губы у мальчика задрожали, он покраснел, но ничего не ответил.

– Твоя дорогая мама оставила тебя на мое попечение.

Мистеру Кэри нелегко было разговаривать с детьми. Когда пришла весть, что жена его брата при смерти, он тут же отправился в Лондон, но по дороге только и думал о том, какую возьмет на себя обузу, если будет вынужден заботиться о племяннике. Ему было далеко за пятьдесят, с женой они прожили тридцать лет, но детей у них не было; мысль о появлении в доме мальчишки, который мог оказаться сорванцом, его совсем не радовала. Да и жена брата никогда ему особенно не нравилась.

– Я отвезу тебя завтра же в Блэкстебл, – сказал он.

– И Эмму тоже?

Ребенок положил свою ручонку в руку няни, и Эмма ее сжала.

– Боюсь, что Эмме придется с нами расстаться, – сказал мистер Кэри.

– А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной.

Филип заплакал, и няня тоже не смогла удержаться от слез. Мистер Кэри беспомощно глядел на них обоих.

– Попрошу вас оставить нас с Филипом на минутку одних.

– Пожалуйста, сэр.

Филип цеплялся за нее, но она ласково отвела его руки. Мистер Кэри посадил мальчика на колени и обнял.

– Не плачь, – сказал он. – Ты уже большой – стыдно, чтобы за тобой ходила няня. Скоро все равно придется отправить тебя в школу.

– А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной! – твердил ребенок.

– Это стоит много денег. А твой отец оставил очень мало. Не знаю, куда все девалось. Тебе придется считать каждое пенни.

Накануне мистер Кэри сходил к поверенному, который вел все дела их семьи. Отец Филипа был хирургом с хорошей практикой, и его работа в клинике, казалось, должна была дать ему обеспеченное положение. Но после его скоропостижной смерти от заражения крови, к всеобщему удивлению, выяснилось, что он не оставил вдове ничего, кроме страховой премии и дома на Брутен-стрит. Умер он полгода назад, и миссис Кэри, слабая здоровьем и беременная, совсем потеряв голову, сдала дом за первую предложенную ей цену. Свою мебель она отправила на склад, а для того чтобы не терпеть во время беременности неудобств, сняла на год целый меблированный дом, платя за него, по мнению священника, бешеные деньги. Правда, она никогда не умела экономить и была неспособна сократить расходы в соответствии со своим новым положением. То немногое, что ей оставил муж, она растратила, и теперь, когда все издержки будут покрыты, на содержание мальчика до его совершеннолетия останется не больше двух тысяч фунтов. Но все это трудно было объяснить Филипу, и он продолжал горько рыдать.

– Пойди лучше к Эмме, – сказал мистер Кэри, понимая, что няне будет легче утешить ребенка.

Филип молча слез с дядиных колен, но мистер Кэри его удержал.

– Нам надо завтра ехать, в субботу я должен приготовиться к воскресной проповеди. Скажи Эмме, чтобы она сегодня же собрала твои вещи. Можешь взять все свои игрушки. И, если хочешь, выбери по какой-нибудь вещице на память об отце и матери. Все остальное будет продано.

Мальчик выскользнул из комнаты. Мистер Кэри не привык трудиться; он вернулся к своим эпистолярным занятиям с явным неудовольствием. Сбоку на столе лежала пачка счетов, которые очень его злили. Один из них казался ему особенно возмутительным. Сразу же после смерти миссис Кэри Эмма заказала в цветочном магазине целый лес белых цветов, чтобы украсить комнату усопшей. Какая пустая трата денег! Эмма слишком много себе позволяла. Даже если бы в этом не было необходимости, он все равно бы ее уволил.

А Филип подошел к ней, уткнулся головой ей в грудь и зарыдал так, словно у него разрывалось сердце. Она же, чувствуя, что любит его, почти как родного сына – Эмму наняли, когда ему не было еще и месяца, – утешала его ласковыми словами. Она обещала часто его навещать, говорила, что никогда его не забудет; рассказывала ему о тех местах, куда он едет, и о своем доме в Девоншире – отец ее взимал пошлину за проезд по дороге, ведущей в Эксетер, у них были свои свиньи и корова, а корова только что отелилась… У Филипа высохли слезы, и завтрашнее путешествие стало казаться ему заманчивым. Эмма поставила мальчика на пол – дел было еще много, – и Филип помог ей вынимать одежду и раскладывать на постели. Эмма послала его в детскую собирать игрушки; скоро он уже весело играл.

Но потом ему надоело играть одному, и он прибежал в спальню, где Эмма укладывала его вещи в большой сундук, обитый жестью. Филип вспомнил, что дядя разрешил ему взять что-нибудь на память о папе и маме. Он рассказал об этом Эмме и спросил, что ему лучше взять.

– Сходи в гостиную и погляди, что тебе больше нравится.

– Там дядя Уильям.

– Ну и что же? Вещи-то ведь твои.

Филип нерешительно спустился по лестнице и увидел, что дверь в гостиную отворена. Мистер Кэри куда-то вышел. Филип медленно обошел комнату. Они жили в этом доме так недолго, что в нем было мало вещей, к которым он успел привязаться. Комната казалась ему чужой, и Филипу ничего в ней не приглянулось. Он помнил, какие вещи остались от матери и что принадлежало хозяину дома. Наконец он выбрал небольшие часы: мать говорила, что они ей нравятся. Взяв часы, Филип снова понуро поднялся наверх. Он подошел к двери материнской спальни и прислушался. Никто не запрещал ему туда входить, но он почему-то чувствовал, что это нехорошо. Мальчику стало жутко, и сердце у него испуганно забилось; однако он все-таки повернул ручку. Он сделал это потихоньку, словно боясь, что его кто-то услышит, и медленно отворил дверь. Прежде чем войти, он собрался с духом и немножко постоял на пороге. Страх прошел, но ему по-прежнему было не по себе. Филип тихонько прикрыл за собой дверь. Шторы были опущены, и в холодном свете январского полдня комната казалась очень мрачной. На туалете лежали щетка миссис Кэри и ручное зеркальце, а на подносике – головные шпильки. На каминной доске стояли фотографии отца Филипа и его самого. Мальчик часто бывал в этой комнате, когда мамы здесь не было, но сейчас все здесь выглядело как-то по-другому. Даже у стульев – и у тех был какой-то непривычный вид. Кровать была постелена, словно кто-то собирался лечь спать, а на подушке в конверте лежала ночная рубашка.

Филип открыл большой гардероб, битком набитый платьями, влез в него, обхватил столько платьев, сколько смог, и уткнулся в них лицом. Платья пахли духами матери. Потом Филип стал выдвигать ящики с ее вещами; белье было переложено мешочками с сухой лавандой, запах был свежий и очень приятный. Комната перестала быть нежилой, и ему показалось, что мать просто ушла погулять. Она скоро придет и поднимется к нему в детскую, чтобы выпить с ним чаю. Ему даже почудилось, что она только что его поцеловала.

Неправда, что он никогда больше ее не увидит. Неправда, потому что этого не может быть. Филип вскарабкался на постель и положил голову на подушку. Он лежал не шевелясь и почти не дыша.

Глава 4

Филип плакал, расставаясь с Эммой, но путешествие в Блэкстебл его развлекло, и, когда они подъезжали, мальчик уже успокоился и был весел. Блэкстебл находился в шестидесяти милях от Лондона. Отдав багаж носильщику, мистер Кэри и Филип отправились домой пешком; идти нужно было всего минут пять. Подойдя к воротам, Филип вдруг вспомнил их. Они были красные, с пятью перекладинами и свободно ходили на петлях в обе стороны; на них удобно кататься, хотя ему это и было запрещено. Миновав сад, они подошли к парадной двери. Через эту дверь входили гости; обитатели дома пользовались ею только по воскресеньям и в особенных случаях – когда священник ездил в Лондон или возвращался оттуда. Обычно же в дом входили через боковую дверь. Был тут и черный ход – для садовника, нищих и бродяг. Дом, довольно просторный, из желтого кирпича, с красной крышей, был построен лет двадцать пять назад в церковном стиле. Парадное крыльцо напоминало паперть, а окна в гостиной были узкие, как в готическом храме.

Миссис Кэри знала, каким поездом они приедут, и дожидалась их в гостиной, прислушиваясь к стуку калитки. Когда звякнула щеколда, она вышла на порог.

– Вон тетя Луиза, – сказал мистер Кэри. – Беги поцелуй ее.

Филип неуклюже побежал, волоча хромую ногу. Миссис Кэри была маленькая, высохшая женщина одних лет со своим мужем; лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели. Седые волосы были завиты колечками по моде ее юности. На черном платье было одно-единственное украшение – золотая цепочка с крестиком. Держалась она застенчиво, и голос у нее был слабый.

– Ты шел пешком, Уильям? – спросила она с укором, поцеловав мужа.

– Я не подумал, что для него это далеко, – ответил тот, взглянув на племянника.

– Тебе нетрудно было идти, Филип? – спросила миссис Кэри мальчика.

– Нет. Я люблю гулять.

Разговор этот немножко его удивил. Тетя Луиза позвала его в дом, и они вошли в прихожую. Пол был выложен красными и желтыми плитками, на которых чередовались изображения греческого креста и агнца божия. Отсюда наверх вела парадная лестница из полированной сосны с каким-то особенным запахом; дому священника повезло: когда в церкви делали новые скамьи, леса хватило и на эту лестницу. Резные перила были украшены эмблемами четырех евангелистов.

– Я велела протопить печь, боялась, что вы в дороге замерзнете, – сказала миссис Кэри.

Большая черная печь в прихожей топилась только в очень дурную погоду или когда священник был простужен. Если простужена была миссис Кэри, печь не топили. Уголь стоил дорого, да и прислуга, Мэри-Энн, ворчала, когда приходилось топить все печи. Ежели им приспичило повсюду разводить огонь, пусть наймут вторую прислугу. Зимой мистер и миссис Кэри больше сидели в столовой и обходились одной печью; но и летом привычка брала свое: они все время тоже проводили в столовой; гостиной пользовался один мистер Кэри, да и то по воскресеньям, когда ложился соснуть после обеда. Зато каждую субботу ему протапливали печь в кабинете, чтобы он мог написать воскресную проповедь.

Тетя Луиза отвела Филипа наверх, в крошечную спаленку; окно ее выходило на дорогу. Прямо перед окном росло большое дерево. Филип припомнил теперь и его: ветви росли так низко, что на дерево нетрудно было вскарабкаться даже ему.

– Комнатка невелика, да ведь и ты еще маленький, – сказала миссис Кэри. – А тебе не страшно будет спать одному?

– Нет.

В прошлый раз, когда Филип жил в доме священника, он приехал сюда с няней, и у миссис Кэри не много было с ним хлопот. Теперь она поглядывала на мальчика с некоторым беспокойством.

– Ты умеешь мыть руки, не то дай я тебе их вымою…

– Я сам умею мыться, – сказал он гордо.

– Ладно, когда придешь пить чай, я проверю, хорошо ли ты вымыл руки, – заявила миссис Кэри.

Она ничего не понимала в детях. Когда было решено, что Филип приедет жить в Блэкстебл, миссис Кэри много думала о том, как ей получше обращаться с ребенком; ей хотелось добросовестно выполнить свой долг. А теперь, когда мальчик приехал, она робела перед ним ничуть не меньше, чем он перед ней. Миссис Кэри от души надеялась, что Филип не окажется шаловливым или невоспитанным мальчишкой, ведь муж ее терпеть не мог шаловливых и невоспитанных детей. Извинившись, миссис Кэри оставила Филипа одного, но минуту спустя вернулась – постучала и спросила за дверью, сумеет ли он сам налить себе в таз воды. Потом она спустилась вниз и позвонила служанке, чтобы та подавала чай.

В просторной, красивой столовой окна выходили на две стороны и были завешаны тяжелыми шторами из красного репса. Посредине стоял большой стол, у одной из стен – солидный буфет красного дерева с зеркалом, в углу – фисгармония, а по бокам камина – два кресла, обитые тисненой кожей, с наколотыми на спинки салфеточками; одно из них, с ручками, называлось «супругом», другое, без ручек, – «супругой». Миссис Кэри никогда не сидела в кресле, говоря, что предпочитает стулья, хотя на них и не так удобно: дел всегда много, а в кресло сядешь, облокотишься на ручки, и встать уже не захочется.

Когда Филип вошел, мистер Кэри разжигал огонь в камине; он показал племяннику две кочерги. Одна была большая, до блеска отполированная и совсем новая – ее звали «священником»; другая, поменьше и множество раз побывавшая в огне, звалась «помощником священника».

– Чего мы ждем? – спросил мистер Кэри.

– Я попросила Мэри-Энн сварить тебе яйцо. Ты ведь, наверно, проголодался с дороги.

Миссис Кэри считала путешествие из Лондона в Блэкстебл очень изнурительным. Она сама редко выезжала из дома, потому что жалованья было

всего триста фунтов в год и, когда ее мужу хотелось отдохнуть, а денег на двоих не хватало, он ездил один. Ему очень нравилось посещать церковные конгрессы, и он каждый год умудрялся съездить в Лондон; один раз он даже побывал в Париже на выставке и два или три раза – в Швейцарии. Мэри-Энн подала яйцо, и они сели за стол. Стул для Филипа был слишком низок, и мистер Кэри с женой растерялись.

– Я подложу ему несколько книг, – предложила Мэри-Энн.

Она взяла с фисгармонии толстую Библию и требник, по которому священник читал молитвы, и положила их Филипу на стул.

– Ах, Уильям, нехорошо, чтобы он сидел на Библии! – ужаснулась миссис Кэри. – Разве нельзя взять какие-нибудь книжки из кабинета?

Мистер Кэри задумался.

– Ну, от одного раза вряд ли будет большой вред, особенно если Мэри-Энн положит требник сверху, – сказал он. – Молитвенник составлен такими же простыми смертными, как мы. Он ведь и не претендует на то, что его начертала рука Всевышнего!

– Я совсем об этом не подумала, Уильям, – сказала тетя Луиза.

Филип вскарабкался на книги, и священник, произнеся молитву, срезал верхушку яйца.

– На, – сказал он Филипу, – можешь съесть.

Филип предпочел бы съесть целое яйцо, но ему никто этого не предложил, и он удовольствовался тем, что ему дали.

– Как тут у вас неслись куры, пока меня не было? – спросил священник.

– Ужасно! Яйца два в день.

– Ну, понравилась тебе верхушка, Филип? – спросил дядя.

– Спасибо, очень.

– Получишь еще одну в воскресенье днем.

Мистеру Кэри всегда подавали к воскресному чаю яйцо, чтобы он мог подкрепиться перед вечерней службой.

Глава 5

Филип постепенно познакомился с теми, с кем ему пришлось жить, и по отрывочным разговорам, часто не предназначенным для его ушей, узнал многое и о себе, и о своих покойных родителях. Отец Филипа был гораздо моложе священника из Блэкстебла. После блестяще пройденного курса в медицинском институте при больнице св. Луки он получил там должность и сразу же стал зарабатывать много денег. Тратил он их, не считая. Когда священник вздумал отремонтировать свою церковь и послал брату подписной лист, он изумился, получив двести фунтов; мистер Кэри – человек от природы бережливый и по необходимости расчетливый – принял этот дар со смешанным чувством: он завидовал брату, который мог пожертвовать такую сумму, радовался за свою церковь и был слегка смущен щедростью, казавшейся ему почти вызывающей. Потом Генри Кэри женился на своей пациентке – красивой девушке без гроша за душой, сироте, у которой не было даже близкой родни, хотя сама она была из хорошей семьи. На свадьбу понаехали толпы нарядных гостей. Священник, посещая их дом во время своих поездок в Лондон, держался с невесткой сдержанно. Она его смущала, и в душе он не одобрял ее удивительной красоты, да и одевалась миссис Кэри куда роскошнее, чем это пристало жене труженика-хирурга. А изящная обстановка дома, обилие цветов, которыми она себя окружала даже зимой, говорили о пагубной расточительности. Священник слушал ее рассказы о приемах, на которые ее приглашали, и, вернувшись домой, говорил жене, что неприлично пользоваться гостеприимством, не оказывая его в свою очередь. На стол подавали виноград, который должен был стоить не меньше восьми шиллингов за фунт; за завтраком ему предложили раннюю спаржу – в приходском саду она должна была поспеть не раньше чем месяца через два. Но вот случилось то, что он предрекал, и священник торжествовал, совсем как тот пророк, который радовался, глядя, как огонь и сера истребляют город, не желавший, несмотря на все его увещевания, сойти со стези порока.

Бедный Филип остался почти без гроша, и много ли ему теперь помогут великосветские друзья его матери? Мальчик слышал, как дядя говорил, что расточительность его отца была чуть ли не преступной и что провидение сжалилось над ребенком, прибрав его дорогую мамочку: она не знала цены деньгам, как малое дитя.

Когда Филип прожил в Блэкстебле неделю, произошел случай, возмутивший дядю до глубины души. Однажды утром, завтракая, он нашел на столе небольшой пакет, пересланный ему почтой из Лондона. Пакет был адресован покойной миссис Кэри. Священник распечатал его и нашел дюжину фотографий умершей. На них были сняты только ее голова и плечи; волосы зачесаны глаже, чем всегда, низко на лоб, что придавало ей какой-то необычный вид; лицо худое, изможденное, однако никакая болезнь не могла скрыть прелести ее черт. В больших темных глазах светилась грусть, которой Филип у нее никогда не видел. Увидев лицо покойницы, мистер Кэри даже отпрянул, но испуг тут же сменился недоумением. Фотографии были сняты явно недавно, и священник не понимал, кто их мог заказать.

– Ты что-нибудь об этом знаешь? – спросил он Филипа.

– Я помню, мама говорила, что ее снимали. Мисс Уоткин ее тогда бранила… А мама сказала: мне хочется, чтобы у мальчика что-нибудь осталось от меня на память, когда он вырастет.

Мистер Кэри поглядел на Филипа. Голосок у мальчика дрогнул. Он повторял слова матери, не понимая их смысла.

– Возьми одну фотографию и поставь у себя в комнате, – сказал мистер Кэри. – Остальные я спрячу.

Он послал одну фотографию мисс Уоткин, и та написала ему, как было дело.

Миссис Кэри лежала в постели, но чувствовала себя лучше обычного, и у доктора с утра появилась даже надежда на ее выздоровление; Эмма повела мальчика гулять, а горничные были внизу. И вдруг миссис Кэри почувствовала страшное одиночество. Ее охватил безумный страх, что она умрет от родов, которых ожидали через две недели. Сыну ее было всего девять лет. Разве он может ее запомнить? Мысль о том, что Филип вырастет и забудет ее, забудет совершенно,

казалась ей невыносимой: она ведь так любила его, потому что он был слабенький, калека и потому что он был ее сын. Она ни разу не снималась со дня своей свадьбы, а с тех пор прошло уже десять лет. Ей хотелось, чтобы сын знал, как она выглядела перед смертью. Тогда он ее не забудет, не сможет ее забыть безвозвратно. Она знала: если позвать горничную и заявить, что она хочет встать, ей этого не позволят, а то и за доктором пошлют; у нее же не было сил, чтобы спорить. Тогда она поднялась с постели и стала одеваться. От долгого лежания на спине она ужасно ослабела, ноги у нее подкашивались, а подошвы кололо, словно иголками, и ей было страшно ступить на пол. Но она продолжала одеваться. Причесываться сама она не привыкла и, подняв руку с гребнем, почувствовала, что ей дурно. И все равно причесать волосы так, как это делала горничная, ей не удалось. Волосы были очень красивые, тонкие, похожие на старое золото. Брови – прямые и темные. Она надела черную юбку и лиф от любимого вечернего платья – из белого, очень модного в ту пору Дамаска. Миссис Кэри поглядела на себя в зеркало. Щеки были без кровинки, но зато кожа очень нежная. Впрочем, румяной ее и прежде нельзя было назвать, но ее розовые губы красиво выделялись на бледном лице. Теперь же, глядя в зеркало, ей стоило большого труда не разрыдаться, но жалеть себя было некогда: она и так чувствовала отчаянную усталость. Закутавшись в меха, которые Генри подарил ей на прошлое Рождество – как она ими тогда гордилась и дорожила, – она с бьющимся сердцем спустилась вниз. Выскользнув незамеченной из дому, она поехала к фотографу и заплатила ему за дюжину снимков. Посреди сеанса ей пришлось попросить стакан воды, и помощник фотографа, видя, что она больна, предложил ей приехать в другой раз, но она настояла на том, чтобы ее сфотографировали. Наконец ее отпустили, и она вернулась в убогий домик в Кенсингтоне, который ненавидела всей душой. Тяжело было умирать в таком доме.

Она издали увидела, что парадная дверь открыта, а когда подъехала к дому, со ступенек сбежали Эмма и горничная. Найдя спальню пустой, они очень перепугались. Сначала им пришло в голову, что больная ушла к мисс Уоткин, и за ней послали кухарку. Но та скоро вернулась вместе с встревоженной мисс Уоткин, которая сейчас дожидалась в гостиной. Она в тревоге вышла навстречу миссис Кэри и осыпала ее упреками; но напряжение, которое перенесла больная, оказалось ей не под силу: теперь, когда не нужно было больше себя превозмогать, миссис Кэри упала на руки Эмме, и ее отнесли наверх. Там она пролежала без сознания так долго, что всем показалось, будто она никогда не очнется, а доктор, за которым послали, все не приходил. Только на другой день, когда ей стало немножко лучше, мисс Уоткин добилась от нее объяснений. Филип играл на полу в спальне, и женщины забыли о его присутствии. Он лишь

смутно понимал, о чем они разговаривают, и не смог бы объяснить, почему слова матери навсегда сохранились у него в памяти.

– Я хотела, чтобы мальчик мог вспомнить меня, когда вырастет.

– Непонятно, зачем ей вздумалось заказывать целую дюжину! – сказал мистер Кэри. – И двух фотографий вполне хватило бы.

Глава 6

В доме священника один день был похож на другой как две капли воды.

Сразу же после завтрака Мэри-Энн приносила «Таймс». Мистер Кэри вместе с двумя своими соседями выписывал одну газету на троих. В его распоряжении она была с десяти до часу; потом садовник относил ее мистеру Эллису, где она оставалась до семи, а затем отправлялась в господский дом к мисс Брукс; та получала газету поздно, но зато могла ее не возвращать. Летом, когда миссис Кэри варила варенье, она часто выпрашивала старую газету у мисс Брукс, чтобы закрыть банки. Стоило священнику приняться за газету, как жена его надевала капор и шла за покупками. Филип ее сопровождал. Блэкстебл был рыбачьим поселком. Он состоял из одной главной улицы – где помещались лавки, банк, жили доктор и два-три хозяина угольных барж – и небольшой гавани, от которой тянулись убогие переулки, где селились рыбаки и беднота, а так как все они были нонконформистами[1 - Секты, отступающие от доктрины господствующей церкви, в данном случае – англиканской (баптисты, пресвитерианцы, квакеры, унитарии, методисты и др.). – Здесь и далее примечания переводчиков.] и церковь не посещали, люди эти были нестоящие. Если миссис Кэри встречала кого-нибудь из священников-сектантов, она переходила на другую сторону, чтобы с ними не здороваться, а столкнувшись невзначай лицом к лицу, принималась разглядывать мостовую у себя под ногами. На главной улице помещалось целых три молитвенных дома сектантов, и это было позором, с которым священник никак не мог примириться: ему казалось, что закон должен вмешаться и воспретить строительство подобных домов. Делать покупки в Блэкстебле было не так просто, ибо сектантов в поселке насчитывалось немало, тем более что приходская церковь стояла в двух милях от городка и ходить туда было слишком далеко. А покупать можно было только у своих прихожан. Миссис

Кэри понимала, что поставка продуктов в дом священника сильно влияет на религиозные убеждения торговцев. В поселке было два мясника, и оба ходили в церковь. Они не желали понимать, почему священник не покупает у них обоих одновременно, их не устраивал и распорядок, который тот предложил: полгода покупать у одного, а следующие полгода – у другого. Если мясник не продавал мяса в дом священника, он постоянно грозился, что перестанет ходить в церковь. Мистеру Кэри порой приходилось самому прибегать к угрозе: мясник совершит грех, не посещая церковь; если он будет упорствовать в своем безбожии и посещать молитвенный дом, то, как бы превосходен ни был его товар, мистеру Кэри придется навсегда отказаться от его услуг. Миссис Кэри часто заходила в банк, чтобы передать поручение управляющему Джозии Грейвсу, который был одновременно и регентом, и казначеем, и церковным старостой. Этот высокий, тощий и седой человек с землистым лицом и длинным носом казался Филипу ветхим старцем. Он вел счета прихода, устраивал угощения для хора и школьников, и, хотя в приходской церкви не было органа, все в Блэкстебле считали, что хор, которым он руководит, – лучший в графстве Кент. Когда затевалась какая-нибудь церемония – в связи ли с приездом епископа для конфирмации или благочинного для молебна по случаю урожая, – мистер Грейвс брал на себя все приготовления. И он, не колеблясь, принимал решения по всем вопросам, лишь для проформы спрашивая совета мистера Кэри, а священник, хотя и не любивший лишних хлопот, очень обижался на самоуправство церковного старосты. Можно было подумать, что он – самая влиятельная фигура в приходе! Мистер Кэри постоянно говорил жене, что, если мистер Грейвс не угомонится, он ему даст по рукам, но миссис Кэри советовала ему не сердиться на Джозию Грейвса: у него добрые намерения, и не его вина, что он дурно воспитан. Священнику было удобно проявлять истинно христианское долготерпение по отношению к старосте, но он мстил мистеру Грейвсу, обзывая его за спиной «Бисмарком».

Однажды между ними все же разыгралась ссора, и миссис Кэри до сих пор вспоминала это тяжкое время с содроганием. Кандидат консервативной партии объявил о своем намерении выступить на митинге в Блэкстебле, и Джозия Грейвс, назначив собрание в Миссионерском доме, явился к мистеру Кэри и попросил его сказать несколько слов. Выяснилось, что кандидат просил Джозию Грейвса быть председателем. Этого уж мистер Кэри не мог снести. У него был твердый взгляд на то, каким почетом должно пользоваться духовенство: смешно церковному старосте лезть на председательское место, когда тут же рядом сидит священник! Он напомнил Джозии Грейвсу, что «пастор» означает «пастырь», то есть пастух своих прихожан. Джозия Грейвс ответил, что, мол, кому, как не ему, почитать авторитет церкви, но тут дело политическое, и он

должен, в свою очередь, напомнить священнику, что спаситель внушал им «воздать кесарю кесарево». На что мистер Кэри ответствовал, что и диавол умел ссылаться на святое писание в своих диавольских целях, а что он, один распоряжаясь Миссионерским домом, откажется предоставить этот дом для политического митинга, если его не попросят председательствовать. Джозия Грейвс заявил мистеру Кэри, что тот волен, конечно, поступать, как ему заблагорассудится, но он лично считает, что и молитвенный дом методистов – вполне подходящее место для митинга. Тогда мистер Кэри сказал, что ежели нога Джозии Грейвса ступит на порог этого дома, который, по его, мистера Кэри, мнению, ничем не лучше языческого капища, то ему, Джозии Грейвсу, не подобает оставаться церковным старостой христианского прихода. После чего Джозия Грейвс отказался от всех своих должностей и в тот же вечер послал в церковь за своей рясой и стихарем. Сестра его, мисс Грейвс, которая вела у него хозяйство, сразу же сняла с себя обязанности секретаря Клуба материнства, снабжавшего неимущих беременных женщин фланелью, пеленками, углем и пособием в пять шиллингов. Мистер Кэри объявил, что наконец-то он стал хозяином в собственном доме. Но скоро обнаружилось, что он вынужден решать вопросы, в которых ничего не смыслит, а Джозия Грейвс, чуть-чуть остыв, понял, что жизнь потеряла для него всякий интерес. Миссис Кэри и мисс Грейвс очень сокрушались по поводу этой ссоры; обменявшись осторожными письмами, они назначили друг другу свидание и решили уладить конфликт; переговоры одной дамы со своим мужем, а другой – с братом длились с утра до вечера, и, так как они убеждали своих мужчин сделать то, чего те в глубине души желали сами, мир был заключен. Обе стороны после трех недель таких треволнений были в нем очень заинтересованы, но приписали свою покладистость любви к Всевышнему. Митинг в Миссионерском доме состоялся, председательствовать попросили доктора, а мистер Кэри и Джозия Грейвс выступили с речами.

Когда миссис Кэри заканчивала свои дела с управляющим банком, она поднималась наверх поболтать с его сестрой, и, покуда дамы обменивались приходскими новостями – насчет помощника священника или новой шляпки миссис Уилсон (мистер Уилсон был самым богатым человеком в Блэкстебле: по слухам, у него было не меньше пятисот фунтов в год, но он женился на своей кухарке), – Филип чинно сидел в неуютной гостиной, которой пользовались только по торжественным случаям, и наблюдал за неугомонной золотой рыбкой в аквариуме. Окна здесь не открывались – разве что по утрам, на несколько минут, чтобы проветрить комнату, – и пахло чем-то затхлым; Филипу казалось, что у этого запаха есть таинственная связь с банковским делом.

Потом миссис Кэри вспоминала, что ей еще надо зайти в бакалейную лавку, и они продолжали свой поход. Часто, покончив с покупками, они спускались по переулку, где дома были маленькие и почти все деревянные и где жили одни рыбаки (на пороге сидел рыбак и чинил свои сети; сети для просушки висели и на дверях), к маленькой бухте, окруженной складами. Оттуда было видно море. Миссис Кэри постоит, бывало, и посмотрит на море, а вода в нем мутная, желтая (кто знает, о чем в это время думала жена священника?); Филип усердно собирал плоские камушки и швырял их в воду. Потом они, не торопясь, возвращались. Заглядывали на почту, чтобы проверить время, раскланивались с женой доктора, миссис Уигрэм, сидевшей с шитьем у окна, и наконец добирались до дому.

Обед был в час дня; по понедельникам, вторникам и средам подавали говядину – жареную, рубленую или тушеную, а по четвергам, пятницам и субботам – баранину. В воскресенье резали одну из своих кур. После обеда Филип готовил уроки. Латыни и математике его обучал дядя, не знавший ни того, ни другого; французскому и музыке – тетя. Во французском она была полной невеждой, но на пианино аккомпанировала себе, распевая старомодные романсы, – она пела их вот уже тридцать лет. Дядя Уильям рассказывал Филипу, что, когда он был помощником священника, его жена знала наизусть двенадцать романсов и могла, если попросят, тут же спеть любой из них. Она и теперь пела, когда в доме бывали званые гости. Кэри мало кого приглашали к себе, и поэтому у них бывали всегда одни и те же лица: помощник священника, Джозия Грейвс с сестрой и доктор Уигрэм с женой. После чая мисс Грейвс играла одну или две «Песни без слов» Мендельсона, а миссис Кэри пела «Когда ласточки летят домой» или «Топ, топ, топ, моя лошадка».

Но Кэри редко звали в дом чужих людей; приготовления выбивали их из колеи, и после ухода гостей они чувствовали себя совершенно измученными. Супруги предпочитали выпить чаю в семейном кругу, а потом поиграть в трик-трак. Миссис Кэри заботилась о том, чтобы муж всегда был в выигрыше: проигрывать он не любил. В восемь часов подавали холодный ужин. Ели, что Бог послал, потому что Мэри-Энн не любила готовить вечером; миссис Кэри помогала ей убирать со стола. Сама она редко ела что-нибудь, кроме хлеба с маслом, запивая его компотом, но мистеру Кэри всегда подавали ломтик холодного мяса. Сразу же после ужина миссис Кэри созывала всех на вечернюю молитву, и Филип отправлялся спать. Он восстал против того, чтобы его раздевала Мэри-Энн, и со временем отвоевал себе право одеваться и раздеваться без посторонней помощи. В девять часов вечера Мэри-Энн вносила яйца и серебро. Миссис Кэри помечала на каждом яйце число и заносила количество яиц в книгу. Взяв на руку

корзинку со столовым серебром, она отправлялась наверх. Мистер Кэри продолжал еще читать одну из своих старых книг, но часы били десять, он вставал, гасил лампы и тоже шел спать.

Когда приехал Филип, долго не могли решить, в какой из вечеров лучше его купать. Горячей воды всегда не хватало, потому что кухонный котел был в неисправности и двоим принять ванну в один и тот же день не удавалось. Единственным обладателем ванной комнаты в Блэкстебле был мистер Уилсон, и, по мнению его земляков, обзавелся он ею для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Мэри-Энн купалась в кухне по понедельникам – она любила начинать новую неделю чистой. Дядя Уильям не мог принимать ванну по субботам: впереди у него был тяжелый день, а купание его немножко утомляло, поэтому он мылся в пятницу. По этой же причине миссис Кэри выбрала себе четверг. Казалось, сам Бог велел, чтобы Филипа купали по субботам, но Мэри-Энн заявила, что не может так поздно топить в канун праздника: и стряпни много в воскресенье, и тесто надо поставить, и мало ли других дел! Нет, не будет она еще и ребенка мыть по субботам! А купаться сам он, конечно, не мог. Миссис Кэри стеснялась купать мальчика, а священник был занят воскресной проповедью. Однако дядя настаивал, чтобы к Божьему празднику Филип был чист хотя бы телом; Мэри-Энн заявляла, что пусть ее лучше уволят, но она не допустит подобного измывательства: проработав восемнадцать лет, она могла бы надеяться, что на нее не станут наваливать лишнюю работу и будут хоть немножко с ней считаться; Филип же говорил, что желает мыться сам, без посторонней помощи. Это и решило вопрос. Мэри-Энн сказала, что он ни за что не сумеет помыться как следует, и чем ребенку ходить грязному – не потому, что его осудит Господь, а потому, что она терпеть не может немытых детей, – так и быть, пусть уж лучше у нее руки от работы отсохнут, но она вымоет мальчика в субботу!

Глава 7

Воскресенье было днем, полным событий. Мистер Кэри говаривал, что он – единственный человек в приходе, который трудится все семь дней недели без отдыха.

В доме поднимались на полчаса раньше обычного. Бедный священнослужитель, он и в праздник не может позволить себе поваляться в постели, замечал мистер Кэри, когда Мэри-Энн стучала в дверь спальни ровно в восемь часов. В этот день одевание занимало у миссис Кэри больше времени, и она спускалась к завтраку в девять, слегка запыхавшись и только чуть-чуть опередив своего мужа. Башмаки мистера Кэри грелись возле камина. Молитвы читались более длинные, и завтрак был сытнее, чем в другие дни. После завтрака священник нарезал хлеб ломтиками для причастия, и Филипу разрешали брать себе корочку. Его посылали в кабинет за мраморным пресс-папье, которым мистер Кэри давил хлеб, пока ломтики не становились тонкими, как бумага, после чего их нарезали квадратиками. Число кусочков зависело от погоды. В очень дурную погоду народу в церкви бывало мало; в очень хорошую – людей приходило много, но к причастию не оставалось почти никого. Больше всего молились в такую погоду, когда было достаточно сухо для того, чтобы пойти в церковь, но не настолько солнечно, чтобы спешить из церкви домой.

Миссис Кэри вынимала из сейфа, стоявшего в буфетной, дароносицу, и священник протирал ее замшей. В десять часов подъезжала карета, и мистер Кэри надевал башмаки. Миссис Кэри задерживала мужа на несколько минут, чтобы надеть капор, а священник, уже облаченный в просторный плащ, терпеливо дожидался ее в прихожей с таким видом, будто он – христианский мученик, которого вот-вот бросят на съедение львам. Трудно поверить, что после тридцати лет замужества его жена так и не научилась поспевать вовремя к воскресной службе! Наконец она выходила, наряженная в черный атлас: священник и вообще-то не терпел цветных нарядов на женах духовных лиц, а уж в воскресенье и подавно требовал, чтобы жена была в черном; время от времени, сговорившись с мисс Грейвс, она пыталась, словно ненароком, приколоть белое перышко или розовый бутон к шляпке, но священник тут же это пресекал: он не появится в церкви в обществе блудницы. И миссис Кэри, будучи женщиной, вздыхала, но повиновалась супружескому долгу. Они уже влезали в карету, но тут священник вспоминал, что ему не дали яйца. Ведь они знают, что ему полагается съесть яйцо, чтобы лучше звучал голос. Две женщины в доме, а позаботиться о нем некому! Миссис Кэри бранила Мэри-Энн, а та огрызалась, что всего не упомнишь, но убегала в дом и приносила яйцо; миссис Кэри взбивала его в стакане хереса. Священник залпом проглатывал его; дароносицу ставили в карету, и они пускались в путь.

Карету заказывали в трактире «Красный лев», и в экипаже всегда пахло гнилой соломой. Ехали с закрытыми окнами, чтобы священник не простудился. Пономарь ждал их у входа, чтобы взять дароносицу, и, когда священник

удалялся в ризницу, миссис Кэри с Филипом занимали свои места на скамьях. Миссис Кэри клала перед собой монетку в шесть пенсов, чтобы пожертвовать на церковь, и давала три пенса Филипу для той же цели. Церковь постепенно наполнялась верующими, и служба начиналась.

Филип очень скучал во время проповеди, но, если он вертелся, миссис Кэри тихонько клала ему руку на плечо и смотрела на него с укором. Он оживлялся, когда запевали последний псалом и мистер Грейвс с блюдом для пожертвований обходил прихожан.

Когда церковь начинала пустеть, миссис Кэри подходила к скамье мисс Грейвс, чтобы поболтать с ней, пока не освободятся их мужчины, а Филип отправлялся в ризницу. Дядя, его помощник и мистер Грейвс еще не успевали снять облачение. Мистер Кэри отдавал Филипу остаток освященного хлеба и разрешал его съесть. Раньше он съедал хлеб сам – ему казалось богохульством его выбрасывать, но здоровый аппетит племянника избавил дядю от этой обязанности. Потом подсчитывали пожертвования. Они состояли из пенсов, шестипенсовиков и монеток в три пенса. На блюде всегда лежали две монеты по шиллингу – одну клал священник, другую мистер Грейвс, – а иногда и чей-нибудь флорин. Мистер Грейвс неизменно докладывал священнику, кто его положил. Это всегда был какой-нибудь приезжий, и мистер Кэри недоумевал, кем же он мог быть. Мисс Грейвс, живая свидетельница этого безрассудства, рассказывала миссис Кэри, что незнакомец приехал из Лондона и был отцом семейства. По дороге домой миссис Кэри пересказывала эти подробности мужу, и священник решал навестить приезжего и попросить его пожертвовать в фонд «Общества лиц духовного звания». Мистер Кэри спрашивал, хорошо ли вел себя Филип, а миссис Кэри сообщала, что на миссис Уигрэм было новое пальто, мистер Кокс не пришел в церковь и люди поговаривают, будто мисс Филлипс помолвлена. Когда коляска подъезжала к дому, у всех было чувство, что они честно заслужили свой сытный обед.

После обеда миссис Кэри уходила отдохнуть к себе, а мистер Кэри укладывался подремать на кушетке в гостиной.

Чай пили в пять, и священник съедал яйцо, чтобы подкрепиться перед вечерней. Миссис Кэри не ездила вечером в церковь, чтобы Мэри-Энн могла послушать службу, но дома читала все положенные молитвы и псалмы. По вечерам мистер Кэри ходил в церковь пешком, и Филип ковылял с ним рядом. Прогулка в темноте по проселочной дороге как-то странно его впечатляла, а дальние огни

церкви, которые все приближались, были милы его сердцу. Сначала он стеснялся дяди, но постепенно к нему привык и, держа его за руку, шагал куда спокойнее, чувствуя себя под его защитой.

Вернувшись домой, они ужинали. На табуреточке возле камина грелись комнатные туфли мистера Кэри, а рядом с ними – туфли Филипа: одна из них такая, как у всех детей, а другая – странной формы, ни на что не похожая. Мальчик едва добирался до кровати от усталости и тут уж не протестовал, если Мэри-Энн его раздевала. Подоткнув одеяло, она целовала его; Филип все больше и больше к ней привязывался.

Глава 8

Филип рос единственным ребенком в семье и привык к одиночеству, поэтому тут, в доме священника, он страдал от него не больше, чем при жизни матери. Он подружился с Мэри-Энн. Это была пухлая низенькая особа лет тридцати пяти, дочь рыбака; она поступила в услужение к священнику восемнадцати лет от роду и не собиралась бросать это место, но вечно держала своих робких хозяина и хозяйку в страхе, грозя им, что выйдет замуж. Родители Мэри-Энн жили в маленьком домике возле гавани, и она ходила к ним в гости по вечерам в свои выходные дни. Ее рассказы о море будили воображение Филипа, и узенькие переулки вокруг гавани дышали романтикой, которой наделяла их его юная фантазия. Как-то раз вечером он попросил разрешения сходить с Мэри-Энн к ней домой, но тетя побоялась, как бы он там чем-нибудь не заразился, а дядя заявил, что дурное общество портит хорошие манеры. Он не любил рыбаков, которые были неотесанны, грубоваты и ходили в молитвенный дом, а не в церковь. Но Филип чувствовал себя куда привольнее в кухне, чем в столовой, и, если мог, убегал туда со своими игрушками. Тетю это не огорчало. Она не терпела беспорядка и, хотя знала, что мальчишкам полагается быть неряхами, предпочитала, чтобы Филип устраивал кавардак в кухне. Если он не мог усидеть на месте, дядя нервничал и говорил, что пора отдать мальчика в школу. Миссис Кэри считала, что Филип еще маленький, и сердце ее переполнялось нежностью к бедному сиротке; однако все ее попытки привязать его к себе были так неуклюжи, а застенчивый мальчик встречал ее ласки так угрюмо, что она обижалась до слез. Иногда из кухни до нее доносился его веселый визг, но стоило ей туда войти, как он сразу же замолкал и только багрово краснел, если Мэри-Энн начинала объяснять тетке причину их веселья. Миссис Кэри не

находила в том, что ей рассказывали, ничего смешного и только натянуто улыбалась.

– Ему куда интереснее с Мэри-Энн, чем с нами, – пожаловалась она мужу, вернувшись к своему шитью.

– Сразу видно, как он плохо воспитан. Пора его привести в надлежащий вид.

В следующее воскресенье после приезда Филипа произошел неприятный случай. Мистер Кэри, как всегда после обеда, прилег подремать в гостиной, но был взбудоражен и не мог уснуть. Утром Джозия Грейвс весьма резко высказался против подсвечников, которыми священник украсил алтарь. Он купил эти подсвечники по случаю в Теркенбэри и считал, что у них очень хороший вид. Но Джозия Грейвс заявил, что в подсвечниках есть что-то папистское. Подобные намеки всегда больно задевали мистера Кэри. Он учился в Оксфорде, когда там ширилось движение, которое привело Эдуарда Мэннинга к отступничеству от англиканской церкви[2 - В 1833 году в Оксфорде возникло религиозное движение, ставившее целью сближение протестантской церкви с римско-католической; Генри-Эдуард Мэннинг (1808–1892) – английский церковный деятель, кардинал римско-католической церкви.], и чувствовал некоторую склонность к римско-католической вере. Мистер Кэри с радостью придал бы церковной службе большую пышность, чем это было принято в приходе Блэкстебла, и в тайниках души томился по крестному ходу и зажженным свечам. Правда, ладан даже он считал излишеством, но ненавидел самое слово «протестант» и называл себя католиком. Он любил говорить, что папизм не зря зовется «римской католической» религией; что же касается англиканской церкви, то и она католическая, но в наиболее глубоком и благородном смысле этого слова. Его тешила мысль, что бритое лицо делает его похожим на патера, а в молодые годы во внешности его было даже нечто аскетическое, что еще больше усугубляло это сходство. Он частенько рассказывал, как во время одной из своих поездок в Булонь, куда из соображений экономии ездил отдыхать один, без жены, он зашел как-то в церковь и заметивший его там кюре попросил мистера Кэри произнести проповедь. Придерживаясь строгих взглядов насчет безбрачия духовных лиц, не имеющих собственного прихода, он увольнял своих помощников, если те вступали в брак. Но, когда во время выборов либералы написали у него на ограде большими синими буквами: «Отсюда прямая дорога в Рим!» – он очень рассердился и грозил подать на местных заправил в суд. Лежа на оттоманке, он твердо решил, что никакие разговоры Джозии Грейвса не заставят его убрать подсвечники с алтаря, и с раздражением бормотал себе под

нос: «Бисмарк! Бисмарк!»

Вдруг раздался шум. Сняв носовой платок, которым было прикрыто его лицо, священник встал и вышел в столовую. Филип сидел на столе, окруженный своими кубиками. Он построил из них громадный дворец, но какая-то ошибка в конструкции привела к тому, что его сооружение с грохотом рухнуло.

– Что ты тут вытворяешь со своими кубиками? Разве ты не знаешь, что нельзя играть по воскресеньям?

Филип с испугом воззрился на дядю и по привычке густо покраснел.

– Дома я всегда играл, – возразил он.

– Не верю, чтобы твоя дорогая мама позволяла тебе совершать такой грех.

Филип не знал, что это грех, но, если так, ему не хотелось, чтобы его маму подозревали в потворстве греху. Понурив голову, он молчал.

– Разве ты не знаешь, что большой грех – играть по воскресеньям? Отчего, по-твоему, этот день называют днем отдохновения? Вечером ты пойдешь в церковь, как же ты предстанешь перед своим Создателем, если в этот день нарушил одну из его заповедей?

Мистер Кэри приказал Филипу немедленно убрать кубики и не ушел, пока мальчик не сделал этого.

– Ты гадкий мальчик, – повторял он. – Подумай, как ты огорчаешь свою бедную мамочку, которую ангелы взяли на небо!

Филипу очень хотелось заплакать, но он с детства не выносил, когда кто-нибудь видел его слезы; сжав зубы, он сдерживал рыдания. Мистер Кэри уселся в кресло и стал перелистывать книгу. Филип прижался к окну. Дом священника стоял в глубине сада, отделявшего его от дороги на Теркенбэри; из окна столовой была видна полукруглая полоска газона, а за ней до самого горизонта – зеленые поля. Там паслись овцы. Небо было серенькое и сиротливое. Филип почувствовал себя глубоко несчастным.

Скоро пришла Мэри-Энн, чтобы накрыть на стол к чаю, и сверху спустилась тетя Луиза.

– Ты хорошо вздремнул, Уильям? – спросила она.

– Нет. Филип поднял такой шум, что я не мог сомкнуть глаз.

Священник допустил неточность: спать ему мешали собственные мысли; угрюмо прислушиваясь к разговору, Филип подумал, что шум был слышен только секунду; непонятно, почему дядя не спал до или после того, как рухнула башня. Миссис Кэри спросила, что произошло, и священник, изложив ей все обстоятельства дела, пожаловался:

– Он даже не счел нужным извиниться.

– Ах, Филип, я уверена, что ты жалеешь о своей шалости, – сказала миссис Кэри, боясь, что мальчик покажется дяде большим сорванцом, чем он был на самом деле.

Филип промолчал. Он продолжал жевать хлеб с маслом, сам не понимая, какая сила мешает ему попросить прощения. Уши у него горели, к горлу подступал комок, но он не мог выдавить ни слова.

– Напрасно ты дуешься, от этого твой проступок становится только хуже, – сказала миссис Кэри.

Чай допили в гробовом молчании. Миссис Кэри то и дело поглядывала исподтишка на Филипа, но священник намеренно его не замечал. Увидев, что дядя пошел наверх собираться в церковь, Филип тоже взял в прихожей пальто и шляпу, но священник, сойдя вниз, сказал:

– Сегодня ты в церковь не пойдешь. В таком душевном состоянии не входят в дом Божий.

Филип не произнес ни слова. Он чувствовал, что его глубоко унизили, и щеки его побагровели. Он молча смотрел, как дядя надевает просторный плащ и широкополую шляпу. Миссис Кэри, как всегда, проводила мужа до двери, а

потом сказала Филипу:

– Не огорчайся. В будущее воскресенье ты не станешь больше проказничать, правда? И дядя возьмет тебя вечером в церковь.

Сняв с него пальто и шляпу, она отвела его в столовую.

– Давай почитаем вместе молитвы и споем псалмы под фисгармонию. Хочешь?

Филип решительно помотал головой. Миссис Кэри была обескуражена. Как же ей с ним быть, если он не хочет читать молитвы?

– Что же нам тогда делать, пока не вернется дядя? – беспомощно спросила она.

Филип наконец-то прервал молчание:

– Оставь меня в покое!

– Филип, как тебе не стыдно так говорить? Ты же знаешь, что мы с дядей хотим тебе только добра! Неужели ты меня совсем не любишь?

– Я тебя ненавижу. Хоть бы ты умерла!

Миссис Кэри задохнулась. Мальчик произнес эти слова с такой яростью, что ей стало просто страшно. Она не нашлась что сказать. Присев на кресло мужа и думая о том, как хотелось ей приголубить этого одинокого, хроменького ребенка, как недоставало любви ей самой – она ведь была бесплодной, и, хотя, видно, на то воля Божья, ей иногда просто невмоготу смотреть на чужих детей, – миссис Кэри почувствовала, как к глазам у нее подступили слезы и стали медленно скатываться по щекам. Филип смотрел на нее с недоумением. Она вынула платок и стала всхлипывать, уже не сдерживаясь. Вдруг Филип понял, что она плачет из-за того, что он ей сказал; ему стало ее жалко. Он молча подошел и поцеловал ее. Это был первый непрошеный поцелуй, который она от него получила. И бедная женщина – такая сухонькая в своем черном атласном платье, такая сморщенная и желтая, с нелепыми завитушками – посадила мальчика на колени, обхватила его руками и заплакала уже навзрыд, так, словно у нее вот-вот разорвется сердце. Но в слезах ее была и отрада: она чувствовала,

что между ними больше не было отчуждения. Она любила его теперь совсем по-другому – ведь он заставил ее страдать.

Глава 9

В следующее воскресенье, когда священник готовился прилечь в гостиной подремать (все, что он делал, подчинялось строгому ритуалу), а миссис Кэри поднималась к себе наверх, Филип спросил:

– А что же мне делать, если нельзя играть?

– Неужели ты не можешь хоть час посидеть спокойно?

– Ну да, сидеть спокойно до самого чая!

Мистер Кэри выглянул в окно, но на дворе было холодно и сыро; он не мог предложить Филипу пойти погулять.

– Ага, знаю, что тебе делать. Выучи-ка наизусть сегодняшнюю молитву.

Он снял с фисгармонии требник и, полистав, нашел нужное место.

– Молитва короткая. Если сможешь прочесть ее за чаем без запинки, получишь верхушку моего яйца.

Миссис Кэри пододвинула стул Филипа к обеденному столу – ему купили высокий стул – и положила перед ним книгу.

– Диавол ленивым рукам всегда работу отыщет, – назидательно произнес мистер Кэри.

Он добавил углей в камин, чтобы огонь пожарче пылал, когда он выйдет к чаю, и ушел в гостиную. Расстегнув воротник, он поудобнее положил подушки и вытянулся на кушетке. Решив, что в гостиной прохладно, миссис Кэри принесла

плед, прикрыла ему ноги и хорошенько подоткнула края вокруг ступней. Она приспустила занавески, чтобы свет не резал ему глаза, и, так как он уже успел их закрыть, вышла из комнаты на цыпочках. Сегодня на душе у священника было покойно, и ровно через десять минут он уже тихонько похрапывал.

Это было шестое воскресенье после праздника богоявления, и молитва начиналась словами: «Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости своей поправшего козни диавола и посулившего учинить нас сынами Божьими, достойными царствия небесного».

Филип прочел молитву. Смысла ее он понять не мог и стал твердить слова вслух; однако многие из них были ему незнакомы и построение фразы непривычно. Больше двух строк кряду запомнить ему не удавалось. А внимание его все время рассеивалось: к стенам дома были подвязаны фруктовые деревья, и длинная ветка то и дело била по оконному стеклу; в поле за садом степенно паслись овцы. Филипу казалось, что голова его пухнет. Его одолевал страх, что до чая он не выучит молитвы; он стал быстро-быстро бормотать слова себе под нос, даже не пытаясь их понять, а заучивая, как попугай.

Миссис Кэри в этот день не спалось, и в четыре часа она спустилась вниз. Ей хотелось проверить, учит ли Филип молитву, чтобы он мог прочесть ее дяде без ошибок. Уильям будет доволен: он поймет, что у Филипа – доброе сердце. Но, когда миссис Кэри подошла к двери столовой, она услышала звуки, которые заставили ее замереть на месте. Сердце у нее сжалось. Она отошла и тихонько выскользнула в сад. Обойдя дом, она подкралась к окну столовой и тихонько в него заглянула. Филип по-прежнему сидел на стуле, который она ему подвинула, но голову он уронил на стол, закрыл лицо руками и отчаянно всхлипывал. Она видела, как дергаются у него плечи. Миссис Кэри испугалась. Ее всегда поражала выдержка этого ребенка. Она ни разу не видела его плачущим. А теперь она поняла, что спокойствие его было только внешним, ему было просто стыдно показывать свои чувства – он плакал тайком от всех.

Забыв, что муж не любит, когда его будят, она ворвалась в гостиную.

– Уильям! Уильям! – закричала она. – Ребенок плачет!

Мистер Кэри поднялся и скинул с ног плед.

– Почему? О чем он плачет?

– Не знаю… Ах, Уильям, ужасно, что мальчик так горюет! А что, если это наша вина? Будь у нас свои дети, мы бы, наверно, знали, как с ним обращаться.

Мистер Кэри растерянно на нее глядел. Он чувствовал себя совершенно беспомощным.

– Не может ведь он плакать оттого, что я велел ему выучить молитву! Там всего каких-нибудь десять строк…

– Как ты думаешь, можно мне отнести ему какую-нибудь книжку с картинками? У нас ведь есть книжки о святой земле. В этом же нет ничего дурного!

– Пожалуйста, я не возражаю.

Миссис Кэри пошла в кабинет. Книги были единственной страстью мистера Кэри – он ни разу не съездил в Теркенбэри без того, чтобы часок-другой не провести у букиниста, и всегда привозил домой четыре или пять пожелтевших томов. Читать он их не читал – охота к этому занятию была давно потеряна, но с удовольствием листал страницы, рассматривал картинки, если книга была иллюстрирована, и приводил в порядок переплет. Больше всего он любил дождливые дни: можно было со спокойным сердцем никуда не выходить и, вооружившись банкой клея и сырым белком, подклеивать телячью кожу какого-нибудь видавшего виды фолианта. У священника было множество старых книг, украшенных гравюрами, с описаниями путешествий; миссис Кэри быстро отыскала среди них те, где рассказывалось про Палестину. Она нарочно покашляла за дверью, чтобы Филип успел вытереть слезы, понимая, что ему будет стыдно, если его застигнут плачущим, и с шумом подергала дверную ручку. Когда она вошла, Филип сидел, уставившись в молитвенник и заслонив глаза руками, чтобы скрыть следы слез.

– Ну как, выучил молитву? – спросила она.

Он ответил не сразу, и она поняла, что мальчик боится, как бы голос у него не дрогнул. Миссис Кэри почему-то страшно смутилась.

– Я не могу выучить ее наизусть, – произнес он наконец не очень твердо.

– Ну и Бог с ней, – весело сказала она. – И не надо. Вот, я тебе принесла книжек с картинками. Поди сюда, сядь ко мне на колени, давай посмотрим вместе.

Филип соскользнул со стула и, хромая, подошел к ней. Глаза у него были опущены, чтобы она не видела, какие они красные. Миссис Кэри его обняла.

– Погляди, – сказала она. – Вот здесь родился наш Спаситель.

Она показала ему восточный город с плоскими крышами, куполами и минаретами. Впереди росло несколько пальм, а в тени их отдыхали два араба с верблюдами. Филип провел рукой по картинке, словно хотел пощупать стены домов и широкие одежды кочевников.

– Прочти, что тут написано, – попросил он.

Миссис Кэри своим тусклым голосом прочла ему текст на противоположной странице – романтические впечатления какого-то путешественника по Востоку в тридцатые годы девятнадцатого века. Манера рассказа, может, и была слегка напыщенной, но он был проникнут тем искренним восхищением, которое Восток вызывал у поколения, жившего после Байрона и Шатобриана. Минуты через две Филип прервал ее:

– Я хочу посмотреть другую картинку.

Когда вошла Мэри-Энн и миссис Кэри поднялась, чтобы помочь ей расстелить скатерть, Филип взял книгу и поспешно просмотрел все картинки. Тетя Луиза с трудом уговорила его отложить книгу, пока они пили чай. Он позабыл о своих отчаянных усилиях выучить молитву, позабыл свои слезы. На другой день шел дождь, и он снова попросил дать ему книжку. Миссис Кэри принесла ее с радостью. Обсуждая с мужем будущее мальчика, они оба мечтали, что племянник примет духовный сан, и его интерес к книге, где описывались места, освященные именем Христовым, казался ей добрым предзнаменованием. У ребенка, видно, была врожденная тяга к религии. Через день-другой он попросил дать ему еще книг. Мистер Кэри отвел его в свой кабинет, показал полку, на которой стояли иллюстрированные издания, и выбрал ему книжку о Риме. Филип схватил ее с жадностью. Картинки стали для него новым

развлечением. Он прочитывал страницу перед каждой гравюрой и страницу после нее, чтобы узнать о том, что изображено, и вскоре потерял всякий интерес к своим игрушкам.

Он стал сам доставать с полок книги, когда никого не было поблизости, и, может, потому, что первое и наиболее сильное впечатление на него произвел восточный город, больше всего нравились ему книги с описаниями Леванта. Сердце его взволнованно билось, когда он глядел на мечети и затейливые дворцы, но среди всех картинок была одна в книжке о Константинополе, которая особенно волновала его воображение. Она называлась «Зал тысячи колонн» – это был византийский водоем, который народная молва наделила фантастическими размерами; в легенде, которую он прочел, рассказывалось, что, соблазняя неосторожных, у ворот водоема всегда причалена лодка, но ни один путешественник, отважившийся уйти на ней в темноту, не вернулся назад. И Филип представлял себе, как лодка плывет и плывет между колоннами то по одному протоку, то по другому, и вот она наконец причаливает к какому-то таинственному дворцу…

Однажды ему повезло: он напал на «Тысячу и одну ночь» в переводе Лейна. Сначала его заинтересовали иллюстрации, а потом он начал читать, и его увлекли сказки, сперва только волшебные, а потом и другие; сказки, которые ему нравились, он перечитывал снова и снова. Теперь он больше ни о чем не мог думать. Он забыл об окружающем мире. Его не могли дозваться обедать. Сам того не понимая, он приобрел прекраснейшую привычку на свете – привычку читать; он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол; не знал он, правда, и того, что создает для себя вымышленный мир, рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования. Вскоре он стал читать и другие книги. Ум у него был любознательный. Увидев, что мальчик нашел себе занятие, больше не пристает к взрослым и не шумит, дядя и тетя перестали обращать на него внимание. У мистера Кэри было столько книг, что он не мог все их упомнить, а так как читал он мало, то не знал и того, какие именно книги он привез в той или иной пачке, купленной по дешевке у букиниста. Вперемежку с проповедями, нравоучениями, путешествиями, житиями святых, историей религии и писаниями отцов церкви стояли старомодные романы – их-то и открыл для себя Филип. Он отыскивал их по заголовкам, и первое, на что он напал, были «Ланкаширские ведьмы», потом «Незаменимый Кричтон» и множество других. Стоило ему, раскрыв книгу, прочесть, как два одиноких путника едут по краю бездны, – и он уже предвкушал, сколько радостей ждет его впереди.

Настало лето, и садовник, бывший матрос, смастерил для него гамак и привязал к ветвям плакучей ивы. Филип лежал в нем часами, укрытый от всех, кто мог ненароком зайти к священнику, и читал, читал самозабвенно. Шло время, наступил июль, а за ним и август; по воскресеньям церковь была полна приезжих, и пожертвования часто доходили до двух фунтов. В дачный сезон ни священник, ни миссис Кэри не выходили из сада надолго: они не любили посторонних и смотрели на заезжих лондонцев с неприязнью. Дом напротив снял на полтора месяца какой-то господин, у которого было два мальчика; он послал спросить, не захочет ли Филип прийти поиграть с его сыновьями, но миссис Кэри ответила вежливым отказом. Она боялась, что столичные мальчики испортят Филипа. Он ведь будет духовным лицом, и его надо оберегать от дурных влияний. Ей хотелось видеть в нем отрока Самуила.

Глава 10

Мистер и миссис Кэри решили отдать Филипа в Королевскую школу в Теркенбэри. Все окрестное духовенство посылало туда своих сыновей. Школа была связана давними узами с кафедральным собором: ее директор был почетным каноником, а бывший директор – архидиаконом. Учеников поощряли стремиться к духовной карьере, а преподавание велось с таким уклоном, чтобы каждый добронравный юноша мог посвятить себя служению Богу. У школы были свои приготовительные классы; туда-то и было решено отдать Филипа. В один из четвергов в конце сентября священник повез племянника в Теркенбэри. Весь день Филип волновался. Он знал о школьной жизни только по рассказам в «Юношеской газете». Прочел он также «Эрик, или Мало-помалу».

Когда поезд подошел к Теркенбэри, Филип был полумертв от страха и по дороге в город сидел бледный, не произнося ни слова. Высокая кирпичная стена перед зданием школы делала ее похожей на тюрьму. В стене была дверца, она открылась, когда приезжие позвонили; оттуда вышел неопрятный увалень и внес сундучок Филипа и его ящик с игрушками за ограду. Их провели в гостиную, заставленную тяжелой, безобразной мебелью; стулья, словно солдаты, вытянулись вдоль стен. Мистер Кэри и Филип стали дожидаться директора.

– А он какой, этот мистер Уотсон? – спросил, не выдержав, Филип.

– Погоди, сам увидишь.

Снова наступило молчание. Мистер Кэри недоумевал, почему директор так долго не приходит. Филип с трудом выдавил из себя:

– Ты им скажи, что у меня хромая нога.

Мистер Кэри не успел ответить: дверь распахнулась, и в комнату величественно вошел мистер Уотсон. Филипу он показался гигантом. Это был могучий человек двухметрового роста, с огромными ручищами и большой рыжей бородой; говорил он зычным, веселым голосом, но его бьющая через край жизнерадостность вселяла в Филипа панический страх. Мистер Уотсон пожал руку мистеру Кэри, а потом схватил в свою лапу худенькую руку мальчика.

– Ну, как, молодой человек, рад, что поступаешь в школу? – зарычал он.

Филип покраснел и не нашелся что ответить.

– Сколько тебе лет?

– Девять, – сказал Филип.

– Надо говорить: «Девять лет, сэр», – поправил его дядя.

– Да, тебе еще многому надо подучиться! – весело прогудел директор.

Желая приободрить мальчика, он стал щекотать его шершавыми пальцами. Филип робел и корчился от этих неприятных прикосновений.

– Я пока что поместил его в маленький дортуар… Тебе ведь это больше понравится, правда? – спросил он Филипа. – Вы там будете ввосьмером. Скорее привыкнешь.

Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Уотсон – смуглая женщина с черными волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. У нее были чрезвычайно толстые губы, нос пуговкой и большие черные глаза. Весь ее вид выражал какую-то особенную холодность. Она редко разговаривала и еще реже

улыбалась. Муж представил ей мистера Кэри, а потом приветливо подтолкнул к ней Филипа.

– Это – новенький, Элен. Его фамилия Кэри.

Она молча пожала Филипу руку и села, не говоря ни слова. А директор в это время спрашивал мистера Кэри, много ли Филип знает и по каким учебникам он готовился. Священник из Блэкстебла был несколько обескуражен шумливым благодушием мистера Уотсона и очень быстро ретировался.

– Пожалуй, мне лучше оставить Филипа с вами.

– Как хотите, – сказал мистер Уотсон. – Со мной он не пропадет. Поднимется, как на дрожжах. Верно, молодой человек?

Не ожидая от Филипа ответа, великан разразился громовым хохотом. Мистер Кэри поцеловал мальчика в лоб и откланялся.

– За мной, молодой человек! – пророкотал мистер Уотсон. – Я тебе покажу классную комнату.

Он двинулся из гостиной гигантскими шагами, и Филип поспешно заковылял за ним следом. Его привели в большую комнату с голыми стенами и двумя столами, тянувшимися во всю ее длину; по обе стороны столов стояли деревянные скамьи.

– Пока что здесь не очень людно, – сказал мистер Уотсон. – Я покажу тебе площадку для игр, а потом уж привыкай сам.

Мистер Уотсон шел впереди. Филип очутился на просторной площадке, с трех сторон окруженной высокой кирпичной оградой. Вдоль четвертой стороны шла железная решетка, сквозь которую была видна большая поляна, а за ней – здания Королевской школы. По поляне понуро бродил маленький мальчик, подкидывая носком ботинка гравий.

– Привет, Веннинг! – закричал мистер Уотсон. – Ты когда это здесь появился?

Мальчик подошел к ним и поздоровался за руку.

– Вот наш новенький. Он старше и выше тебя, поэтому ты его не задирай.

Директор дружелюбно сверкнул глазами и раскатисто захохотал. У обоих мальчишек сердце ушло в пятки. Потом он оставил их одних.

– Как тебя зовут?

– Кэри.

– Кто твой отец?

– Он умер.

– Ага… А мать твоя любит поесть?

– Мама тоже умерла.

Филип понадеялся, что его ответ смутит мальчика, но Веннинга не так легко было унять.

– Но раньше любила? – настаивал он.

– Наверно, – с возмущением сказал Филип.

– Значит, она была обжора?

– Нет, не была.

– Значит, она померла с голоду.

Мальчишка загоготал от восторга перед собственной железной логикой. Вдруг он обратил внимание на ногу Филипа.

– А что у тебя с ногой?

Филип сделал инстинктивное движение, чтобы убрать ногу. Он отставил ее назад, за здоровую.

– У меня больная нога, – сказал он.

– А что ты с ней сделал?

– Она всегда была такая.

– Дашь посмотреть?

– Не дам.

– Ну и не надо.

Мальчишка вдруг изо всех сил лягнул Филипа в голень. Филип этого не ожидал и не успел увернуться. Боль была так сильна, что он вскрикнул, но еще сильнее боли было недоумение. Он не понимал, почему Веннинг его лягнул. Филип так растерялся, что даже его не стукнул. К тому же мальчик был меньше его, а он прочитал в «Юношеской газете», что подло бить тех, кто меньше или слабее тебя. Филип стал тереть ушибленную ногу, и в это время появился еще один мальчишка. Веннинг сразу же оставил Филипа в покое. Скоро Филип заметил, что те двое говорят о нем и разглядывают его ногу. Он вспыхнул, и ему стало не по себе.

Но тут появились другие мальчики; их стало уже больше десятка, все они затараторили о том, что делали во время каникул и как здорово играли в крикет. Подошло еще несколько новеньких, с ними разговорился и Филип. Он был робок и очень застенчив. Ему хотелось расположить к себе товарищей, но он не знал, как это сделать. Его забрасывали вопросами, и он охотно на них отвечал. Один из мальчиков спросил, умеет ли он играть в крикет.

– Нет, – ответил Филип. – У меня хромая нога.

Мальчик сразу же взглянул на его ногу и покраснел. Филип понял, что он раскаивается в том, что задал бестактный вопрос, но слишком застенчив, чтобы извиниться. Мальчик растерянно смотрел на Филипа и молчал.

Глава 11

На следующее утро Филипа разбудили удары колокола, и он с удивлением оглядел свою спальню. Но кто-то запел и сразу напомнил ему, где он находится.

– Ты проснулся, Певун?

Дортуар был разделен на спаленки перегородками из полированной сосны, а вместо дверей висели зеленые занавески. В те годы не слишком заботились о вентиляции, и окна открывались только по утрам, чтобы проветрить спальни.

Филип встал с постели и опустился на колени помолиться. Утро было холодное, и его слегка знобило, но дядя внушил ему, что молитва скорее доходит до Бога, если ее читать неодетым, в ночной рубашке. Это его нисколько не удивляло: он уже понимал, что Бог, который его сотворил, любит, чтобы верующие терпели лишения. Филип умылся. На пятьдесят воспитанников было всего две ванны, и каждый мог принять ванну только раз в неделю. Умывались в тазике на умывальнике, который вместе с кроватью и стулом составлял всю обстановку спальни. Одеваясь, мальчики весело болтали. Филип весь превратился в слух. Потом снова прозвонил колокол, и все побежали вниз. Они заняли свои места на скамьях, стоявших возле длинных столов в классной комнате. Вошел мистер Уотсон в сопровождении жены и слуг. Мистер Уотсон сел и прочел молитву. Читал он ее внушительно: обращение к Богу, произнесенное его громовым голосом, воспринималось как угроза, обращенная к каждому из мальчиков лично. Филип слушал его со страхом. Потом мистер Уотсон прочитал главу из Библии, и слуги покинули класс. Минуту спустя встрепанный паренек внес сначала два больших чайника, а потом огромные блюда с хлебом, намазанным маслом.

Филип был разборчив в еде, толстый слой не очень свежего масла сразу же вызвал у него тошноту; увидев, как другие мальчики соскребают это масло с хлеба, он последовал их примеру. У всех школьников, кроме казенной, была и своя еда – копчености и соления, которые они вместе с игрушками привезли из дома; кое-кому дополнительно подавались яйца или сало, на чем неплохо зарабатывал мистер Уотсон. Он спросил у мистера Кэри, должен ли такую добавку получать и Филип, но священник ответил, что, по его мнению,

мальчиков не следует баловать. Мистер Уотсон с готовностью согласился: он тоже считает, что хлеб с маслом – лучшая пища для юношества и что некоторые родители зря балуют своих детей, настаивая на особом питании.

Филип заметил, что эти «добавки» подчеркивали привилегированность тех, кто их получал, и решил попросить тетю Луизу, чтобы и ему давали дополнительное кушанье.

После завтрака дети отправились на площадку для игр. Сюда постепенно собрались и приходящие ученики – дети местного духовенства, офицеров расквартированного здесь полка, промышленников и торговцев этого старинного города. Скоро опять прозвонил колокол, и все пошли на занятия. Они происходили в большой длинной комнате; два младших преподавателя в разных ее концах обучали учеников второго и третьего классов. В отдельной комнате рядом мистер Уотсон занимался с учениками первого класса. В официальных отчетах и речах, для того чтобы объединить эту начальную школу с Королевской, ее три класса именовали «высшим, средним и низшим приготовительными классами». Филипа поместили в низший. Учитель – краснощекий человек с приятным голосом, по фамилии Райс, – умел заинтересовать учеников, и время шло незаметно. Филип был удивлен, когда оказалось, что уже без четверти одиннадцать, и учеников отпустили на десятиминутную перемену.

Школа с шумом высыпала во двор. Новичкам было приказано встать посредине; остальные выстроились у стен по сторонам. Началась игра в «свинью посередке». Мальчишки постарше перебегали от одной стенки к другой; новички должны были их ловить; когда кто-нибудь из старших попадался и произносил заветные слова: «Раз, два, три, свинью бери!» – он становился пленником, переходил на сторону врага и помогал ловить тех, кто еще был на свободе. Филип заметил бегущего мимо него мальчишку и попытался его поймать, но хромота ему мешала, и те, кого ловили, пользуясь этим, старались пробежать мимо него. Одному из школьников пришла в голову блестящая идея передразнить неуклюжую походку Филипа. Другие засмеялись, а потом и сами стали подражать товарищу; они бегали вокруг Филипа, смешно прихрамывая, вопили высокими ломающимися голосами и визгливо хохотали. Восторг, который они испытывали от этой новой забавы, заставил их совсем потерять голову – они давились от смеха. Один из них подставил Филипу ногу; тот упал, как всегда тяжело, и рассек коленку. Кругом захохотали еще громче. Когда он поднялся, один из мальчиков толкнул его сзади, и Филип упал бы снова, если бы другой

его не подхватил. Игра была забыта, физическое уродство Филипа развлекало их куда больше. Один из ребят придумал странную прихрамывающую походку и стал раскачиваться всем туловищем; это показалось удивительно забавным, и несколько мальчишек повалились на землю, катаясь от смеха. Филип был напуган до немоты. Он не мог понять, почему над ним смеются. Сердце у него билось так, что ему трудно было дышать, – такого страха он не испытывал никогда в жизни. Он стоял как вкопанный, а мальчишки бегали вокруг него, кривляясь и хохоча; они кричали ему, чтобы он их ловил, но он словно окаменел. Ему не хотелось, чтобы снова видели, как он бегает. Он напрягал все силы, стараясь не заплакать.

Внезапно зазвонил колокол, и все толпой ринулись в школу. У Филипа из колена текла кровь; он был растрепан и весь в пыли. Мистеру Райсу не сразу удалось навести порядок в классе. Его ученики все еще были возбуждены новой забавой, и Филип заметил, что двое или трое из них смотрят вниз, на его ноги. Он поджал их подальше под парту.

После обеда, когда школьники отправлялись играть в футбол, мистер Уотсон остановил Филипа.

– Кэри, ты, наверно, не можешь играть в футбол?

Филип стыдливо вспыхнул.

– Нет, сэр.

– Не огорчайся. Но ты все-таки ступай на поле… Ты можешь туда дойти? Для тебя это не далеко?

Филип представления не имел, где это поле, но все же ответил:

– Нет, сэр.

Мальчики отправились под командой мистера Райса. Увидев, что Филип не переоделся в спортивный костюм, учитель спросил, почему он не хочет играть.

– Мистер Уотсон сказал, что мне можно не играть, сэр.

– Почему?

Филип чувствовал, что со всех сторон на него обращены любопытные взгляды; его мучил стыд. Он молчал, опустив глаза. За него ответили другие:

– У него хромая нога, сэр.

– Ах вот как…

Мистер Райс был очень молод, диплом он получил только в прошлом году, и он вдруг растерялся. Учителя так и подмывало извиниться перед Филипом, но что-то ему мешало. Он вдруг сердито прикрикнул:

– А ну-ка, мальчики, чего вы ждете? Марш!

Кое-кто зашагал вперед; за ними двинулись и остальные группами по двое и по трое.

– А вы, Кэри, лучше идите со мной. Вы же не знаете дороги.

Филип понял, что учитель пожалел его, и к горлу у него подступил комок.

– Я не могу ходить очень быстро, сэр.

– Тогда я пойду очень медленно, – с улыбкой сказал учитель.

С этой минуты сердце Филипа было отдано краснощекому и самому что ни на есть заурядному молодому человеку, у которого нашлось для него ласковое слово. Он вдруг почувствовал себя не таким несчастным.

Ночью, когда все укладывались спать, мальчик по прозвищу Певун вышел из своей спальни и заглянул к Филипу.

– Послушай-ка, дай посмотреть на твою ногу, – попросил он.

– Не дам, – сказал Филип и быстро прыгнул в кровать.

– Нет, дашь, – сказал Певун. – А ну-ка, хватай его, Мейсон!

Мальчик из соседней спальни выглянул из-за перегородки и, услышав приглашение, проскользнул за занавеску. Вдвоем они накинулись на Филипа и стали сдирать с него одеяло, но тот крепко держал его обеими руками.

– Оставьте меня в покое! – закричал он.

Певун схватил головную щетку и стал оборотной стороной бить Филипа по пальцам. Филип вскрикнул от боли.

– А ты почему не показываешь нам ногу?

– Не хочу!

В отчаянии Филип стукнул своего мучителя кулаком, но сила была не на его стороне, и мальчишка, ухватив его за руку, начал ее вывертывать.

– Не надо, не надо! – взмолился Филип. – Ты мне руку сломаешь.

– А ты молчи и покажи ногу.

Филип всхлипнул, потом разрыдался. Мальчик вывертывал ему руку все сильнее. Боль стала невыносимой.

– Ладно, покажу! – сказал он.

Он высунул ногу из-под одеяла. Певун крепко держал руку Филипа и с любопытством разглядывал его уродливую ступню.

– Ужасная гадость, правда? – сказал Мейсон.

Вошел еще один мальчик и принял участие в осмотре.

– Фу! – сказал он с отвращением.

– Вот уродина, – скривившись, сказал Певун. – А она твердая?

Он пощупал ногу кончиком пальца так опасливо, словно она была чем-то одушевленным. Вдруг на лестнице послышались тяжелые шаги мистера Уотсона. Мальчишки накинули на Филипа одеяло и, как мыши, бросились врассыпную по своим спальням. В дортуар вошел мистер Уотсон. Встав на цыпочки, он мог заглянуть поверх зеленой занавески и проверить, что за ней делается. Окинув взором три кровати, он убедился, что мальчики спокойно спят, погасил свет и вышел.

Певун окликнул Филипа, но тот молчал. Вцепившись зубами в подушку, он беззвучно плакал. Он плакал не от боли, не от унижения, которое испытал, когда рассматривали его ногу, а от ненависти к себе самому, не выдержавшему пытки, к своему слабодушию.

И тут он почувствовал, как он несчастен. Его детской душе казалось, что страдания – удел всей его жизни. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил то холодное утро, когда Эмма вынула его из кроватки и положила рядом с матерью. С тех пор он ни разу об этом не думал, но сейчас живо припомнил теплоту материнского тела и прикосновение ее рук. Вдруг ему почудилось, что все это сон – и смерть матери, и жизнь у дяди, и эти два горьких дня в школе, утром он проснется и очутится снова дома. От этой мысли слезы высохли. Ему слишком горько, так бывает только во сне, и мама его жива, и Эмма скоро придет и ляжет спать… Он забылся.

Но наутро его разбудил звон колокола, и, открыв глаза, он увидел зеленую занавеску своей спальни.

Глава 12

Время шло, и хромота Филипа перестала вызывать интерес. Ее уже не замечали, как рыжие волосы другого мальчика или противоестественную тучность третьего. Но Филип стал чудовищно мнительным. Он по возможности старался не бегать, зная, что тогда его увечье заметнее, и выработал особую походку. Он привык стоять неподвижно, пряча уродливую ногу позади здоровой, чтобы не привлекать к ней внимания, и вечно с тревогой ожидал насмешек. Не участвуя в

играх других ребят, он был выключен из их жизни. На все, что волновало их, он мог смотреть только со стороны; ему казалось, что между ним и его товарищами – непреодолимая стена. Иногда им казалось, будто он сам виноват в том, что не играет в футбол, а он не мог им ничего объяснить. Он часто бывал предоставлен самому себе. От природы общительный, Филип постепенно сделался молчаливым. Он начал задумываться над тем, что отличает его от других ребят.

Самый рослый мальчик в дортуаре, Певун, его невзлюбил, и щуплому для своих лет Филипу пришлось немало от него вытерпеть. Посреди семестра всю школу охватила мания игры в «перышки». Играли двое, сидя за столом или за партой, стальными перьями. Один ногтем толкал свое перо так, чтобы кончиком его покрыть кончик пера противника, а тот должен был помешать этому и в свою очередь добиваться того, чтобы его перо оказалось сверху; победитель, подышав на подушечку большого пальца, с силой прижимал оба перышка и, если ему удавалось поднять их в воздух и не уронить, становился обладателем обоих перьев. Скоро вся школа была целиком поглощена этой игрой, и наиболее искусные стали владельцами множества перышек. Мистер Уотсон, решив, что это – разновидность азартной игры, запретил ее и отнял у мальчиков перья. Филип, проявивший в этой игре большую ловкость, отдал свой выигрыш с тяжелым сердцем; пальцы его так и тянулись к перышкам, и спустя несколько дней по дороге на футбольное поле он зашел в магазин и купил перьев рондо на целое пенни. Он таскал их в кармане и радовался, чувствуя их под рукой. Певун дознался, что у Филипа есть перья. Ему тоже пришлось отдать свои запасы, но он утаил одно, самое большое перо, по прозвищу Слон, которое никто не мог победить. Трудно было избежать соблазна и не постараться выиграть у Филипа все его перья! И хотя Филип понимал слабость своих маленьких перышек, он от природы любил рисковать; к тому же он знал, что Певун все равно не даст ему покоя. Филип не играл уже целую неделю и сел за стол, предвкушая удовольствие. Он быстро потерял два своих перышка, и Певун уже ликовал, но в третий раз Слон каким-то образом промазал, и Филип сумел прикрыть его своим рондо. Он даже застонал от торжества. В этот миг в комнату вошел мистер Уотсон.

– Что вы тут делаете? – спросил он, переводя взгляд с Филипа на Певуна, но оба молчали.

– Разве вы не знаете, что я запретил эту идиотскую игру?

Сердце у Филипа отчаянно билось. Он знал, что им грозит, и был страшно испуган, но к страху у него примешивалось какое-то приятное волнение. Филипа никогда еще не пороли. Конечно, это больно, зато будет чем похвастаться потом!

– Ступайте ко мне в кабинет.

Директор повернулся, и они пошли за ним. Певун прошептал Филипу:

– Ну, влетит!

Мистер Уотсон показал пальцем на Певуна.

– Нагнись.

Белый как мел Филип смотрел, как мальчик вздрагивает от каждого удара; после третьего он вскрикнул. За этим ударом последовало еще три.

– Хватит. Поднимайся.

Певун выпрямился. По его лицу катились слезы. Филип сделал шаг вперед. Мистер Уотсон посмотрел на него.

– Тебя я пороть не буду. Ты – новенький. И не могу я бить калеку. Ступайте оба и в следующий раз извольте слушаться.

Когда они вернулись в класс, их окружила толпа ребят, откуда-то пронюхавших о том, что с ними стряслось. Мальчишки жадно накинулись на Певуна с расспросами. Лицо у Певуна покраснело от боли, на щеках еще были следы слез. Он мотнул головой на Филипа, стоявшего позади.

– Ему сошло с рук, потому что он калека, – сказал он зло.

Филип сжал зубы, сгорая от стыда. Он чувствовал, что мальчики смотрят на него с презрением.

– Сколько тебе дали? – спросил один из них Певуна.

Но тот не ответил. Он был зол: ведь ему сделали больно.

– Ты меня больше не проси с тобой играть, слышишь? Тебе-то что! Ты ничем не рискуешь.

– Я тебя и не просил!

– Врешь!

Он быстро дал ему подножку. Филип всегда неустойчиво держался на ногах, он больно грохнулся об пол.

– Калека! – крикнул Певун.

Он жестоко терзал Филипа до самого конца семестра, и, хотя тот старался не попадаться ему на глаза, школа была так мала, что скрыться не удавалось. Филип пробовал заговорить со своим мучителем по-товарищески; он унизился даже до того, что купил ему нож; но, хотя Певун и взял нож, он не утихомирился. Раза два, доведенный до отчаяния, Филип попытался ударить или лягнуть Певуна, но тот был намного его выше и настолько сильнее, что Филип не мог с ним справиться и, натерпевшись мук, всегда был вынужден просить пощады. Филипа угнетала развязка: унизительные извинения, которые вымогали у него при помощи нестерпимых пыток. Но хуже всего было то, что страданиям его, казалось, не будет конца; Певуну исполнилось всего одиннадцать лет, а в приготовительных классах он пробудет до тринадцати. Филип знал, что ему суждено целых два года прожить с палачом, от которого не было спасения. Он был счастлив только во время уроков и когда ложился в постель. И по вечерам к нему часто возвращалось странное чувство, что жизнь его со всеми ее бедами – только сон и утром он проснется в своей кроватке в Лондоне.

Глава 13

Прошло два года, и Филипу было уже около двенадцати лет. Учился он в первом классе, шел вторым или третьим учеником, и после Рождества, когда несколько мальчиков перейдут из его класса в Королевскую школу, он станет первым. У него уже скопилась целая коллекция наград (никому не нужные книги на скверной бумаге, хотя и в роскошных переплетах, украшенных гербом школы). Завоеванное положение спасало его от издевательств, и жизнь больше не казалась такой уж тяжкой. Товарищи прощали ему успехи за его хромоту.

– Подумаешь! Кэри сам Бог велел получать награды, – говорили они. – Что ему еще делать, как не зубрить?..

Страх его перед мистером Уотсоном пропал. Он привык к его львиному рыку, и, когда на плечо его опускалась тяжелая рука директора, Филип угадывал в этом прикосновении ласку. У него была отличная память, что куда важнее для хорошего ученика, нежели умственные способности, и он знал, что мистер Уотсон рассчитывает выпустить его из приготовительной школы со стипендией.

Но Филип постоянно чувствовал себя настороже. Младенец не отдает себе отчета в том, что тело его принадлежит ему больше, чем окружающие предметы; он играет пальцами ноги, не чувствуя, что они – часть его самого и чем-то отличаются от висящей рядом погремушки; лишь постепенно, испытав боль, ребенок начинает ощущать самостоятельное существование своего тела. Индивидууму, чтобы осознать свое «я», необходим такой же опыт; однако разница заключается в том, что всякий человек ощущает свое тело как особый и самостоятельный организм, но отнюдь не каждый осознает свое «я» как самостоятельную и независимую личность. Ощущение отчужденности от других приходит обычно с половой зрелостью, но не всегда развивается до такой степени, чтобы отличие индивидуума от окружающих стало заметно ему самому. И вот людям, так же мало осознающим свое «я», как пчелы в улье, суждена в жизни удача: им куда чаще выпадает счастье, ведь их бытие делит с ними все общество, их радости только потому и становятся радостями, что ими тешатся сообща; такие люди пляшут в Духов день на Хэмстед-хит, орут на футбольном матче, машут из окон клубов на Пелл-Мелл королевскому кортежу. Это благодаря им человека прозвали общественным животным.

Филип шагнул от простодушия младенчества к горькому ощущению своего «я», подгоняемый насмешками, которым подвергалась его хромота. Условия его существования были необычны; к ним нельзя было применить ходячие правила, и ему волей-неволей приходилось думать самостоятельно.

Он прочел множество книг, и в голове его роились мысли, которые он еще и сам не вполне понимал; может, поэтому они так будоражили его воображение. Болезненная застенчивость делала его замкнутым, но в душе у него что-то созревало, и он смутно начинал отдавать себе отчет в том, что он – личность. По временам эта личность самого его удивляла: он совершал безотчетные поступки и, раздумывая о них потом, так и не мог их себе объяснить.

Он подружился с мальчиком по фамилии Люард, и однажды, когда они вдвоем играли в классе, Люард стал показывать какой-то фокус с ручкой из черного дерева, принадлежавшей Филипу.

– Брось валять дурака, – сказал Филип. – Ты ее сломаешь.

– Не сломаю.

Но не успел он договорить, как ручка переломилась пополам. Люард с испугом посмотрел на Филипа.

– Прости, пожалуйста. Мне ужасно жалко, что она сломалась.

По щекам Филипа катились слезы; он не произнес ни слова.

– Послушай, что с тобой? – с изумлением спросил Люард. – Я куплю тебе точно такую же ручку.

– Мне не ручки жалко, – сказал Филип дрожащим голосом, – но ее подарила мне мама перед смертью…

– Послушай, Кэри, извини меня, пожалуйста…

– Да что там. Чем же ты виноват…

Филип взял обломки ручки и, глядя на них, старался сдержать рыдания. Он чувствовал себя ужасно несчастным и сам не знал почему: ведь он-то отлично помнил, что купил эту ручку за шиллинг и два пенса в Блэкстебле во время каникул. Филип сам не мог понять, что заставило его выдумать эту

трогательную историю, но так горевал, словно все это была правда. Набожная атмосфера в семье священника и религиозная обстановка в школе сделали Филипа очень совестливым; он привык верить в то, что искуситель не дремлет, охотясь за его бессмертной душой, и, хотя он и не был правдивее других ребят, всякая ложь заставляла его потом горько раскаиваться. Думая об этом происшествии, он очень каялся и наконец решил пойти к Люарду и сознаться в том, что все выдумал. И, пуще всего на свете боясь унижения, он целых три дня тешился мыслью о том, какую горькую радость испытает, унизив себя во славу Божию. Однако дальше этой мысли он не пошел. Он облегчил свою совесть более легким способом – покаявшись только перед Всевышним. Но Филип так и не понял, почему его взволновала история, которую он же сам выдумал. Ведь слезы текли по его грязным щекам, и это были неподдельные слезы! И тогда по какой-то ассоциации он вспомнил, как Эмма сообщила ему о смерти матери, а он, обливаясь слезами, все же настоял на том, чтобы проститься с мисс Уоткин и ее сестрой. Ему хотелось, чтобы они видели, как он горюет, чтобы его пожалели.

Глава 14

Потом всю школу захлестнула волна религиозного чувства. Не слышно стало ругани, и мелкие пакости малышей вызывали искреннее возмущение; старшие мальчики, словно средневековые рыцари-тамплиеры, пользовались мощью своей длани для того, чтобы направить слабых духом на стезю добродетели.

Филип со своим беспокойным умом, жадным до всего нового, стал очень набожным. Прослышав, что можно вступить в Библейскую лигу, он написал в Лондон, желая разузнать о ней поподробнее. Ему прислали опросный лист, в котором надлежало сообщить имя, возраст и учебное заведение; он должен был также дать торжественное обещание в том, что каждый вечер в течение года будет читать отрывок из священного писания; в конце его просили выслать полкроны. Деньги, как ему разъясняли, нужны для того, чтобы убедиться в серьезности его намерений и покрыть канцелярские расходы. Филип, не откладывая, выслал то, что у него просили, в ответ он получил календарь стоимостью в пенни, на котором были размечены главы для чтения Библии, и лист бумаги, на одной стороне его изображался божественный пастырь с ягненком, а на другой была напечатана молитва в красивой красной рамке. Ее полагалось произносить перед чтением священного писания.

Теперь каждый вечер Филип спешил поскорее раздеться, чтобы прочесть побольше, прежде чем погасят газ. Читал он, как всегда, прилежно, не допуская в душу сомнений, рассказы о жестокостях, коварстве, бесчестии, неблагодарности и низком обмане. Поступки, которые непременно возбудили бы в нем ужас, случись они в жизни, не вызывали у него осуждения, ибо совершались по прямому внушению Божьему. Лига предлагала чередовать главу из Ветхого завета с главой из Нового, и как-то ночью Филипу попались такие слова Христа:

«Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, – будет.

И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите».

Слова эти не произвели на него особого впечатления, но случилось так, что дня через два, в воскресенье, соборный каноник выбрал этот же текст для своей проповеди. Если бы Филип и захотел ее слушать, ему бы это все равно не удалось: ученики Королевской школы сидели на хорах, а кафедра помещалась в углу бокового нефа, так что проповедник стоял к ним почти спиной. Да и расстояние было так велико, что на хорах можно было услышать только человека с хорошим голосом и дикцией, а по давней традиции каноников Теркенбэри выбирают скорее за образованность, чем за умение служить у алтаря. Однако евангельский текст, взятый для проповеди, Филип все же расслышал – может быть, потому, что он так недавно его прочел, – и мальчику вдруг показалось, что он касается его лично. Он раздумывал об этих словах чуть не всю проповедь и вечером, улегшись в постель, перелистал Новый завет и снова отыскал нужное место. И хотя он неукоснительно верил всему, что напечатано в книгах, в Библии, как он уже убедился, часто говорилось одно, а подразумевалось, неизвестно почему, совсем другое. В школе не было человека, к которому он мог бы пойти за советом, поэтому он решил отложить волновавший его вопрос до рождественских каникул, и тут ему представился подходящий случай. Дело было после ужина, вечерние молитвы были уже прочитаны. Миссис Кэри считала яйца, которые, как всегда, принесла Мэри-Энн, и писала на них дату. Филип стоял у стола и с безразличным видом перелистывал Библию.

– Послушай, дядя, вот это место… Как по-твоему, что оно означает?

Он показал пальцем абзац так, словно напал на него случайно.

Мистер Кэри взглянул на племянника поверх очков. Он сидел возле камина, держа у огня «Блэкстебл таймс». В тот вечер газета пришла из типографии еще сыроватая, и священник всегда в таких случаях подсушивал ее минут десять, прежде чем приняться за чтение.

– Какое место? – спросил он.

– Да вот тут написано, что, если у тебя есть вера, ты можешь сдвинуть с места горы.

– Если это сказано в Библии, значит, так оно и есть, – мягко заметила миссис Кэри, унося корзину со столовым серебром.

Филип молча смотрел на дядю, ожидая ответа.

– Все дело в вере.

– Неужели правда, что стоит поверить, будто ты можешь сдвинуть с места гору, и ты ее в самом деле сдвинешь?

– С Божьей помощью, – сказал священник.

– Ну, Филип, пожелай дяде «спокойной ночи», – вмешалась тетя Луиза. – Ты ведь сегодня ночью не собираешься двигать гору?

Филип подставил дяде лоб для поцелуя и пошел наверх с тетей Луизой. Он получил ответ. В его комнате воздух был ледяной, и Филип дрожал, надевая ночную рубашку. Но он всегда верил, что молитвы угоднее Богу, если ты читаешь их, терпя неудобства. Окоченевшие руки и ноги были жертвой на алтарь Всевышнего. И сегодня он упал на колени, закрыл лицо руками и стал пламенно молиться Богу, чтобы тот сделал его уродливую ногу такой, как у всех. Ведь это же мелочь, разве можно сравнить какую-то ногу с горой? Он знал, что, если Бог захочет, он может это сделать, и его вера была несокрушима. На

следующее утро, кончая молитву все той же просьбой, он назначил день, когда должно было совершиться чудо.

– О Господи всеблагой и всемилостивый! Если будет на то твоя воля, прошу тебя, сделай мою ногу здоровой в ночь накануне моего возвращения в школу!

Ему было приятно, что он сумел выразить свою просьбу в такой складной форме, и он повторил ее в столовой, перед тем как подняться с колен после утренней молитвы, во время краткого молчания, которого требовал священник. Он снова произнес ее вечером, а потом еще раз, дрожа от холода, перед сном. И он верил. В первый раз он ждал с нетерпением конца каникул. Он смеялся в душе, представляя удивление дяди, когда тот увидит, как он бежит вприпрыжку с лестницы, перескакивая через три ступеньки… А после завтрака им с тетей Луизой придется спешно покупать новую пару ботинок. В школе будут поражены.

– Эй, Кэри, что ты сделал со своей ногой?

– Она у меня теперь в порядке, – скажет он небрежно, как будто произошла самая обычная вещь на свете.

Он сможет играть в футбол. Сердце его дрогнуло, когда он представил себе, как он бежит, бежит быстрее других ребят. В конце пасхального семестра будут спортивные состязания, и он сможет участвовать в беге; ему очень хотелось участвовать в беге с препятствиями. Какое счастье быть таким, как все, чтобы на тебя не пялили глаза новички, которые еще не знают о твоем увечье, чтобы летом, во время купания, тебе не нужно было принимать самые невероятные предосторожности, пока ты раздеваешься и еще не успел спрятать ногу в воде…

Он молился от всей души. Сомнения его не тревожили. Он полагался на слово Божие. И в ночь накануне отъезда в школу он отправился спать, дрожа от волнения. Выпал снег, и тетя Луиза позволила себе непривычную роскошь – она затопила камин в своей спальне. Но в комнатушке Филипа было так холодно, что у него совсем онемели пальцы, и ему было трудно расстегнуть воротник. Зубы его стучали. Он решил, что сегодня ему надо совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы заслужить милость Бога, и он отвернул коврик у кровати и встал коленями на голые доски; тогда ему показалось, что ночная рубашка – это тоже баловство и может рассердить Создателя; он снял ее и стал молиться

голый. Когда он лег в постель, ему было ужасно холодно и он долго не мог заснуть, но сон наконец пришел, и такой крепкий, что Мэри-Энн наутро с трудом его разбудила. Она принесла горячую воду и что-то ему говорила, раздвигая занавески, но Филип ей не отвечал: он сразу же вспомнил, что в это утро должно было свершиться чудо. Сердце его было полно благодарности и восторга. Он инстинктивно вытянул руку, чтобы пощупать ступню, которая была теперь такой, как у всех, но тут же отдернул ее, боясь, что это будет означать сомнение в благости Божьей.

Он ведь знает, что нога его здорова. Но в конце концов он все-таки решился и пальцами правой ноги легонько дотронулся до левой. Потом он провел по ней рукой.

Хромая, Филип спустился вниз, когда Мэри-Энн входила в столовую на молитву. Потом он сел завтракать.

– Ты сегодня какой-то тихий, – немного погодя сказала ему тетя Луиза.

– Он мечтает о вкусном завтраке, который ему завтра подадут в школе, – сказал священник.

Помолчав, Филип ответил, но по всегдашней своей манере совсем не на то, о чем шла речь, – дядя злился и называл это дурацкой привычкой витать в облаках.

– Предположим, ты просил о чем-то Бога, – сказал Филип, – и верил по-настоящему, что он это сделает, вот, например, передвинет гору на другое место или что-нибудь еще, понимаешь? И у тебя есть вера, а ничего не случилось. Что бы это могло значить?

– Какой странный мальчик! – сказала тетя Луиза. – Ты две недели назад уже спрашивал, можно ли передвинуть гору.

– Это значит, что у тебя не хватает веры, – ответил дядя Уильям.

Филип принял это объяснение. Если Бог его не исцелил, значит, он верил не так, как нужно. Но в то же время он не понимал, как можно было верить сильнее. А что, если он дал Богу слишком мало времени? Он молил его всего каких-то

девятнадцать дней. Через день-другой он стал снова повторять свою молитву и назначил Богу новый срок – Пасху. В этот светлый день воскрес из мертвых сын Божий, и Бог на радостях должен быть настроен милостиво. Но на этот раз Филип принял и другие меры, чтобы его заветное желание было исполнено: он загадывал его, глядя на молодой месяц или на коня в яблоках; ждал, не упадет ли звезда; во время короткой побывки дома им как-то подали курицу, и он ломал дужку с тетей Луизой, загадывая снова и снова, чтобы его нога стала здоровой, как у других. Бессознательно он взывал к богам куда более древним, чем Бог Израилев. Он засыпал Всевышнего своими молитвами во всякое время дня, когда бы он об этом ни вспомнил, но всегда в одних и тех же выражениях: ему почему-то казалось, что точность слов тут очень важна. Однако скоро он стал чувствовать, что и теперь его веры не хватит.

Он уже не мог подавить в себе сомнения. И дело кончилось тем, что свой личный опыт он возвел в общее правило.

– Видно, ни у кого не хватает веры, – говорил он себе.

Все это было похоже на басни его няньки: та его уверяла, что можно поймать любую птицу, насыпав ей соли на хвост; как-то раз маленький Филип взял с собой в Кенсингтонский парк мешочек с солью. Но ему ни разу не удалось подобраться к птице так близко, чтобы можно было насыпать ей соли на хвост. Перед Пасхой Филип прекратил всякую борьбу. К дяде, который его обманул, он почувствовал глухую злобу. Текст, где говорилось, что вера движет горами, был лишним примером того, что в книгах пишется одно, а на деле выходит совсем другое. Дядя, наверно, просто подшутил над ним.

Глава 15

Королевская школа в Теркенбэри, куда Филип поступил в тринадцать лет, гордилась своим древним происхождением. Основанная еще до завоевания Англии норманнами, она сперва была школой при аббатстве – начатки наук преподавались там монахами-августинцами; с уничтожением монастырей школа, как и многие подобные ей заведения, была реорганизована чиновниками короля Генриха VIII, откуда и получила свое название. С тех пор она занимала подобающее ей место и давала образование детям дворян и лиц свободных

профессий Кента. Из ее питомцев вышло несколько знаменитых литераторов, начиная с того поэта, чей гений уступал лишь блистательному гению Шекспира, и кончая прозаиком, чьи взгляды на жизнь глубоко повлияли на поколение Филипа; она воспитала и двух-трех известных адвокатов – положим, известные адвокаты совсем не редкость – и столько же видных военных. Но все три столетия, с тех пор как она отделилась от монашеского ордена, школа готовила главным образом мужей церкви: епископов, настоятелей, каноников и больше всего сельских священников; в школе были мальчики, отцы, деды и прадеды которых учились в ее же стенах, а затем становились приходскими священниками в Теркенбэрийской епархии; такие мальчики поступали в школу с готовым решением сделать духовную карьеру. Впрочем, даже тут заметны были признаки надвигавшихся перемен: кое-кто из учеников, вторя пересудам взрослых, поговаривал, будто церковь уже не та, что прежде. Дело было даже не в ее доходах – изменился класс людей, которые желали принять духовный сан; мальчики знали священников, чьи отцы были простыми лавочниками. Лучше уж отправиться в колонии (в те дни колонии все еще были последней надеждой тех, кому нечего было делать в Англии), чем стать помощником какого-нибудь типа, который не был джентльменом. В Королевской школе, как и в доме блэкстеблского священника, лавочником считали всякого, кто не сподобился владеть землею (хотя и здесь проводилось тонкое различие между помещиком из дворян и простым землевладельцем) или не принадлежал к одной из четырех профессий, достойных джентльмена. Среди приходящих учеников – их было около ста пятидесяти – сыновья местных дворян и офицеров презирали тех, чьи отцы занимались коммерцией.

Учителя не признавали модных взглядов на воспитание, о которых иногда почитывали в «Таймсе» или «Манчестер гардиан»; они от души надеялись, что Королевская школа останется верна своим старым традициям. Древние языки преподавались с таким усердием, что бывший ученик всю жизнь не мог подумать о Гомере или Вергилии без отвращения; хотя в учительской иной смельчак за обедом и утверждал подчас, что роль математики нынче возрастает, большинство стояло на том, что изучать классические языки куда благороднее. Ни немецкому, ни химии не учили, а французский преподавали лишь классные наставники; они могли блюсти порядок в классе лучше какого-нибудь иностранца, а грамматику знали не хуже любого француза – что за беда, если ни один из них не смог бы заказать чашки кофе в ресторане в Булони, если бы официант хоть чуть-чуть не понимал по-английски? Обучение географии сводилось к тому, что ребят заставляли чертить карты, в особенности если изучаемая страна была гористой: можно убить уйму времени, вычерчивая Анды или Апеннины. Учителя были выпускниками Оксфорда или Кембриджа,

посвящены в духовный сан и все как один – холостяки; если кто-нибудь из них вдруг решал жениться, ему оставалось лишь принять от капитула менее доходную должность; но за много лет никто из них не пожелал променять изысканное теркенбэрийское общество – благодаря кавалерийскому гарнизону здесь была не только духовная, но и военная знать – на однообразную жизнь в сельском приходе; во времена Филипа все учителя были людьми пожилыми.

Зато директору полагалось быть человеком женатым, и он руководил школой, пока у него хватало сил. Когда он выходил в отставку, его награждали пенсией, куда большей, чем та, на какую могли рассчитывать учителя, и саном почетного каноника впридачу.

Но за год до поступления Филипа в школе произошли серьезные события. Давно было ясно, что доктор Флеминг, пробывший директором уже четверть века, стал чересчур глух, чтобы продолжать свою деятельность во славу Господню; когда на одной из окраин города освободился приход с окладом в шестьсот фунтов, доктору предложили принять его в весьма недвусмысленных выражениях, подразумевавших, что ему давно пора на покой. На такое жалованье нетрудно было врачевать свои недуги. Младшие священники, надеявшиеся на повышение, говорили своим женам, что обидно отдавать приход, нуждавшийся в молодом, крепком и энергичном человеке, старикану, который понятия не имеет о приходских делах и уже скопил деньжат на черный день; но жалобы необеспеченного духовенства не достигали ушей членов капитула. Что касается прихожан, то их дело было сторона и никто их мнения не спрашивал. К тому же у них был выбор: в приходе имели свои молитвенные дома как методисты, так и баптисты.

Когда избавились от доктора Флеминга, пришлось подыскать ему заместителя. Избрание одного из младших учителей нарушило бы школьные традиции. Учительская была единодушно настроена в пользу мистера Уотсона, директора приготовительных классов; его никак нельзя было считать преподавателем Королевской школы; все знали его добрых двадцать лет и не боялись с его стороны подвоха. Но капитул преподнес им сюрприз. Он назначил некоего Перкинса. Сперва никто не знал, кто такой Перкинс, и это простонародное имя само по себе вызывало кривотолки; но, прежде чем улеглось первое потрясение, выяснилось, что это сын Перкинса, торговца полотном. Доктор Флеминг с нескрываемым ужасом сообщил об этом классным наставникам как раз перед обедом. Все, кто сидел за столом, ели в молчании, не касаясь этой темы, пока слуги не покинули комнату. Зато потом они отвели душу. Имена

присутствовавших не имеют значения, но целые поколения школьников звали их Занудой, Дегтем, Соней, Ирлашкой и Выскочкой.

Все они знали Тома Перкинса. Во-первых, он был плебеем. Они его отлично помнили. Это был маленький, смуглый, глазастый мальчик с всклокоченными черными волосами. Вылитый цыганенок. В школе он был приходящим учеником и получал наивысшую стипендию, так что образование не стоило ему ни гроша. Конечно, у него были блестящие способности. Ежегодно школьный акт приносил ему награды. Учителя выставляли его напоказ, и теперь они с горечью вспоминали, как в свое время боялись, что он попытается получить стипендию в какой-нибудь из более привилегированных школ и таким образом ускользнет у них из рук. Доктор Флеминг даже посетил его отца, торговца полотном – все они помнят лавку Перкинса и Купера на Сент-Кэтрин-стрит, – и выразил надежду, что Том останется у них в школе до поступления в Оксфорд. Школа была самым выгодным покупателем Перкинса и Купера, и мистер Перкинс с радостью заверил директора, что все будет в порядке. Слава Тома Перкинса не меркла, по древним языкам он был лучшим учеником из всех, кого помнил доктор Флеминг, и по окончании школы получил самую большую стипендию, какую она могла предложить. В колледже святой Магдалины он получил еще одну стипендию, с чего и началась его блестящая университетская карьера. Школьный журнал каждый год отмечал достигнутые им успехи, и, когда по окончании университета он получил диплом первой степени по двум специальностям, доктор Флеминг собственноручно начертал в передовице несколько похвальных слов. Его успехи радовали всех еще и потому, что для Перкинса и Купера настали тяжелые времена: Купер пил горькую, и фирме пришлось заявить о банкротстве как раз накануне получения Томом Перкинсом ученой степени.

В положенный срок Том Перкинс принял духовный сан и вступил на ту стезю, для которой подходил как нельзя более. Он служил младшим преподавателем в Веллингтоне, а потом в Регби.

Но между признанием его успехов в других школах и службой под его началом в их собственной была большая разница. Деготь часто заставлял его переписывать латинские и греческие стихи, а Выскочка драл его за уши. Они были поражены, как это капитул допустил такую ошибку. Разве можно забыть, что Перкинс – сын обанкротившегося торговца полотном, а пьянство Купера еще усугубляло этот позор. Разнесся слух, что настоятель усердно поддерживал его кандидатуру, так что, вероятно, Перкинса будут приглашать к нему ужинать; но останутся ли эти интимные трапезы такими же приятными, как прежде, если за

стол посадят Тома Перкинса? А как насчет гарнизона? Не мог же Перкинс ожидать, что офицеры и все прочие джентльмены примут его как равного. Все это нанесет школе неизмеримый урон. Родители будут недовольны, и, чего доброго, ученики начнут толпами переходить в другие школы. И вдобавок какое унижение – называть его «мистер Перкинс»! Учителя собирались в знак протеста коллективно подать в отставку, но их удерживал страх, что отставка будет принята.

– Да, новшеств нам не миновать, – промолвил Зануда, который уже двадцать пять лет с поразительной бездарностью вел пятый класс.

Встреча с Перкинсом не внесла успокоения в их души. Доктор Флеминг пригласил их для этой встречи на обед. Новому директору было уже года тридцать два, он был высок и худощав, но сохранил все тот же диковатый и растрепанный вид, который они помнили с его мальчишеских лет. Одевался он небрежно, костюм был дурно сшит и изрядно поношен. Волосы были по-прежнему черные и длинные, но расчесывать он их, по-видимому, так и не научился; при каждом движении они падали ему на лоб, и он привычным жестом отбрасывал их назад. Рот был закрыт черными усами, лицо заросло бородой до самых скул. Беседовал он с учителями совершенно свободно, словно расстался с ними каких-нибудь две недели назад; казалось, он был в восторге, что видит их снова. Он явно не чувствовал неловкости положения и не видел ничего странного в том, что его называют мистером Перкинсом.

Прощаясь, один из учителей заметил из вежливости, что у Перкинса еще много времени до отхода поезда.

– Я хочу побродить по городу и взглянуть на лавку, – весело ответил тот.

Наступило замешательство. Учителя подивились его бестактности, в довершение доктор Флеминг не расслышал его слов. Миссис Флеминг пришлось крикнуть ему в самое ухо:

– Он хочет побродить по городу и поглядеть на отцовскую лавку.

Один лишь Том Перкинс не чувствовал унижения, которое испытывало все общество. Он спросил миссис Флеминг:

– Вы, случайно, не знаете, кому она сейчас принадлежит?

Она чуть было не лишилась языка. Ее охватила ярость.

– Там все еще торгуют полотном, – резко сказала она. – Хозяина зовут Гров. Мы там больше не покупаем.

– Любопытно, позволит ли он мне походить по дому.

– Наверно, позволит, если вы ему скажете, кто вы такой.

Только вечером после ужина в учительской заговорили о том, что занимало всех. Зануда спросил:

– Ну, что вы думаете о нашем новом начальстве?

Они вспомнили разговор за обедом. Вряд ли назовешь его беседой – скорее, это был монолог. Перкинс говорил, не умолкая, очень быстро, речь его лилась плавным потоком, а голос был глубоким и звучным. Смеялся он странным коротким смешком, показывая ослепительно белые зубы. Им с трудом удавалось следить за ходом его речи, мысли его перескакивали с одного предмета на другой, и связь между ними часто от них ускользала. Он говорил о педагогике, и в этом еще не было ничего удивительного, но его волновали модные немецкие теории, о которых они никогда и не слышали, да и слышать не хотели! Он говорил об античности, коснулся и археологии; мистер Перкинс побывал в Греции – однажды он провел на раскопках целую зиму. Им было непонятно, зачем все это учителю. Для того чтобы готовить детей к экзаменам?.. Он говорил о политике. Странно было слышать, что он сравнивает лорда Биконсфильда с Алкивиадом. Он говорил о мистере Гладстоне и самоуправлении для Ирландии. Да он просто либерал! Сердце у них упало. Он говорил о немецкой философии и о французской литературе. Разве у серьезного человека могут быть такие разнородные интересы?

Соне удалось выразить общее впечатление, и в такой форме, которая в их устах означала самый суровый приговор. Соня – наставник старшего третьего класса – был человек слабовольный; веки его были всегда полуприкрыты. Недостаточно крепкий для своего высокого роста, он двигался медленно, вяло и выглядел ужасно утомленным; кличка была очень меткой.

– Уж больно он увлекается, – сказал Соня.

Увлекаться было непристойно. Джентльменам увлекаться не подобало. Это напоминало об Армии спасения с ее пронзительными трубами и барабаном. Увлечения вели ко всяким новшествам. Мороз подирал по коже от одной мысли, что любезным их сердцу традициям угрожает неминуемая опасность. Они с дрожью взирали на будущее.

– Он еще больше похож на цыгана, чем прежде, – изрек кто-то, помолчав.

– Интересно, знали настоятель и капитул, что он радикал? – горько спросил другой.

Но разговор не клеился. Они были взволнованны.

Когда неделю спустя Деготь и Зануда шли в здание капитула на торжественный акт, Деготь заметил с обычной своей язвительностью:

– Мы с вами присутствуем на таких торжествах уже много лет. Любопытно, доживем ли мы до следующего?

Зануда был настроен еще более меланхолично, чем всегда.

– Если мне попадется теплое местечко, – сказал он, – я согласен и в отставку.

Глава 16

Прошел год, как Филип поступил в школу, но все старые учителя по-прежнему оставались на своих местах. Однако, несмотря на сопротивление педагогов, которое отнюдь не было менее упорным оттого, что скрывалось под мнимой готовностью поддерживать затеи нового начальства, в школе замечалось немало перемен. Классные наставники все еще обучали французскому языку в низших классах, но был приглашен новый учитель со степенью доктора филологии, полученной в Гейдельбергском университете, и свидетельством о

трехлетнем пребывании во французском лицее; он преподавал французский в старших классах и немецкий – тем, кто предпочитал этот язык греческому. Другого учителя пригласили преподавать математику более основательно, чем было принято до сих пор. Ни тот, ни другой не принадлежали к духовному званию. Это была настоящая революция, и, когда они появились, старые учителя встретили их враждебно. Была оборудована лаборатория, стали проводить военные занятия; все утверждали, что самый характер школы менялся на глазах. Одному только Богу было известно, какие еще проекты витали в вихрастой голове мистера Перкинса! Школа была невелика по сравнению с другими закрытыми учебными заведениями; ее интернат мог вместить не больше двухсот учеников. Она примыкала к собору, и ей трудно было расширяться; за исключением одного дома, в котором жили учителя, все соседние здания были заняты соборным причтом; свободных участков для новых построек не было. Но мистер Перкинс разработал подробный план, который позволял школе удвоить свои размеры. Ему хотелось привлечь учеников из Лондона. Им пойдет на пользу общение с ребятами из Кента, а те в свою очередь поднаберутся у них городского лоска.

– Но это идет вразрез со всеми нашими традициями, – сказал Зануда, когда мистер Перкинс поделился с ним своими проектами. – Мы всегда старались избежать этой заразы – лондонских мальчишек.

– А, вздор! – сказал мистер Перкинс.

Никто еще не говорил классному наставнику, что он болтает вздор; Зануда уже обдумывал едкий ответ с намеком на торговлю нижним бельем, но тут мистер Перкинс со свойственной ему горячностью напал на него самым оскорбительным образом:

– Что касается соседнего дома… вот если бы вы женились, я бы убедил капитул надстроить несколько этажей – мы бы оборудовали там дортуары и классные комнаты, а ваша жена помогала бы вам следить за порядком.

Пожилой священник просто ахнул. Зачем ему жениться? Ему стукнуло пятьдесят семь лет, разве можно жениться в пятьдесят семь лет! Да не способен он в свои годы присматривать за целым домом. Он не хочет жениться. Если уж надо выбирать между женитьбой и сельским приходом, он лучше подаст в отставку. Все, чего он теперь хочет, – это тишины и покоя.

– Да я и думать не желаю о браке, – заявил он.

Мистер Перкинс уставился на него своими черными горящими глазами, а если в них и были веселые искорки, бедный Зануда этого не заметил.

– Жаль! А вы бы не могли жениться, чтобы сделать мне одолжение? Это бы мне сильно помогло убедить настоятеля и капитул перестроить ваш дом…

Но самым ненавистным новшеством мистера Перкинса была его манера время от времени проводить занятия в чужом классе. Каждый раз он просил об этом как об одолжении, отлично понимая, что отказать ему нельзя. Выражаясь словами Дегтя, то бишь мистера Тернера, новый порядок был унизителен для обеих сторон. Не предупредив заранее, директор, бывало, говорил после утренней молитвы одному из преподавателей:

– Вы ведь не откажетесь взять сегодня с одиннадцати часов шестой класс? Поменяемся классами, ладно?

Они не знали, было ли это принято в других школах, но, во всяком случае, в Теркенбэри так никогда не поступали. И последствия были самые неожиданные. Мистер Тернер – он стал первой жертвой – сообщил своему классу, что сегодня урок латыни будет вести директор, и под тем предлогом, что ученики, быть может, пожелают выяснить какие-нибудь вопросы, чтобы не попасть впросак перед директором, посвятил последние четверть часа урока истории на синтаксический разбор заданного на этот день отрывка из Ливия. Но, когда он вернулся в свой класс и заглянул в журнал, где мистер Перкинс ставил отметки, его ждал сюрприз: двум лучшим ученикам не повезло, тогда как другие, никогда прежде не отличавшиеся успехами, получили отличные отметки. Когда он спросил своего любимчика Элдриджа, как это надо понимать, тот угрюмо ответил:

– Мистер Перкинс вовсе и не спрашивал синтаксического разбора. Он спросил меня, что я знаю о генерале Гордоне.

Мистер Тернер уставился на него с изумлением. Ученики явно считали, что с ними поступили несправедливо, и он не мог не разделять их молчаливого недовольства. Как и они, он не понимал, что может быть общего между Ливием и генералом Гордоном. В конце концов он рискнул осведомиться об этом у

директора.

– Элдридж был совсем сбит с толку, когда вы спросили его о генерале Гордоне, – сказал он директору, отваживаясь при этом хихикнуть.

Мистер Перкинс засмеялся.

– Я увидел, что они дошли до аграрных законов Гая Гракха, и поинтересовался, знают ли они что-нибудь об аграрных беспорядках в Ирландии. Но об Ирландии они знают только, что Дублин стоит на реке Лиффи. Вот мне и захотелось спросить, слыхали ли они о генерале Гордоне.

И тут обнаружился ужасающий факт: новый директор был просто одержимый, его интересовало общее развитие учащихся. Проверку зазубренных уроков он считал делом бесполезным и требовал сообразительности.

С каждым месяцем Зануда мрачнел все больше: его мучила мысль, что мистер Перкинс вот-вот потребует от него назначить срок женитьбы; к тому же его злило отношение директора к античной литературе. Без сомнения, тот был ее блестящим знатоком, к тому же он писал труд в лучших традициях классического образования – диссертацию о деревьях, упоминавшихся у латинских авторов. Но говорил он об этом легкомысленно, словно о пустячном занятии, вроде игры на бильярде, которой он увлекался в свободное время. А руководитель среднего третьего класса, Выскочка, становился с каждым днем все раздражительнее.

В его-то класс и попал Филип при поступлении в Королевскую школу. Преподобный Б. Б. Гордон был человеком, плохо приспособленным к учительской профессии: он отличался нетерпимостью и вспыльчивым характером. Не зная над собой никакой управы, имея дело с безответными малышами, он давно разучился сдерживаться. Он начинал трудовой день сердясь, а кончал его в бешенстве. Это был тучный человек среднего роста, с коротко подстриженными бесцветными и уже начавшими седеть волосами и маленькими щетинистыми усами. Его широкое одутловатое лицо с крошечными голубыми глазками было от природы красное, а во время частых приступов гнева оно темнело и становилось багровым. Ногти его были обкусаны до самого мяса: пока какой-нибудь мальчик, дрожа, разбирал предложение, он, сидя за столом, трясся от бешенства и грыз ногти. О его рукоприкладстве ходили, быть

может, и преувеличенные слухи, но два года назад вся школа была встревожена, узнав, что отец одного из учеников, по фамилии Уолтерс, угрожает подать на Гордона в суд: он так сильно стукнул книгой мальчика по голове, что тот оглох и его пришлось взять из школы. Родители Уолтерса жили в Теркенбэри, и город был ужасно возмущен этим происшествием – о нем даже упомянула местная газета. Но мистер Уолтерс был всего-навсего пивоваром, поэтому кое-кто сочувствовал и учителю. Остальные ученики, хоть и ненавидели классного наставника, но по причинам, известным только им самим, встали на его сторону: в отместку за то, что школьные дела были преданы гласности, они, как могли, отравляли существование младшему брату Уолтерса, который еще оставался в школе. Но мистер Гордон был на волосок от того, чтобы приобщиться к прелестям сельской жизни, и, испугавшись этого, никогда больше не бил учеников. Классные наставники лишились права бить мальчиков тростью по рукам, и Выскочка больше не мог отводить душу, колотя палкой по столу. Теперь он позволял себе только хватать мальчика за плечи и трясти его. Но он все еще наказывал шалунов и непокорных, заставляя их стоять с вытянутой рукой от десяти минут до получаса, и оставался все так же невоздержан на язык, как прежде.

Вряд ли можно вообразить менее подходящего преподавателя для такого робкого подростка, каким был Филип. Когда он поступал в среднюю школу, у него уже не было тех страхов, которые одолевали его, когда он впервые попал к мистеру Уотсону. Он знал многих ребят, учившихся вместе с ним в приготовительных классах. Теперь он был куда взрослее и инстинктивно понимал, что в большой толпе учеников его физический недостаток не так будет бросаться в глаза. Но с первого же дня мистер Гордон вселил в его сердце ужас: учитель быстро распознавал тех, кто его боится, и, казалось, поэтому у него возникла особая неприязнь к Филипу. Прежде Филип любил заниматься, но теперь он со страхом ожидал часов, которые надо было проводить в классе. Боясь неверно ответить и навлечь на себя бурю оскорблений, он предпочитал тупо молчать; когда приходила его очередь разбирать предложение, он бледнел и его начинало мутить от страха. Он был счастлив только в те часы, когда класс вел мистер Перкинс. Ему легко было удовлетворить требования директора, которого больше всего занимало общее развитие учеников, – ведь Филип не по возрасту много читал; часто мистер Перкинс, не получая ответа на поставленный им вопрос, останавливался возле Филипа и обращался к нему с улыбкой, от которой тот чувствовал себя на седьмом небе:

– Ну-ка, Кэри, расскажи им.

Хорошие отметки, которые ставил мальчику директор, еще больше разжигали неприязнь мистера Гордона. Как-то раз подошла очередь Филипа переводить; учитель сидел, пожирая его глазами и яростно грызя большой палец. Он кипел от ярости. Филип заговорил едва слышным голосом.

– Не бубни себе под нос! – крикнул учитель.

Филипу показалось, что слова застревают у него в горле.

– Давай! Давай! Давай!

С каждым разом учитель выкрикивал это слово все громче. Из головы Филипа улетучилось все, что он знал, и мальчик тупо уставился в книгу. Мистер Гордон захрипел:

– Если ты ничего не знаешь, так и скажи! Знаешь ты или нет? Слышал ты в прошлый раз разбор или нет? Чего ты молчишь? Говори, болван, говори!

Учитель изо всех сил ухватился за ручки кресла, словно для того, чтобы не броситься на Филипа. Ученики знали, что в прежние времена он нередко хватал учеников за горло и душил, пока они не посинеют. На лбу у него вздулись жилы, лицо потемнело и стало страшным. Он был в бешенстве.

Накануне Филип отлично знал весь отрывок, но теперь ничего не мог вспомнить.

– Я не знаю, – еле выговорил он.

– Как это ты не знаешь? Давай разберем каждое слово в отдельности. Тогда мы увидим, знаешь ты или нет.

Филип стоял бледный как смерть, весь дрожа, молча уставившись в книгу. Дыхание с хрипом вырывалось из груди учителя.

– А директор говорит, будто ты способный ученик. Не знаю, с чего это он взял. Вот вам его хваленое общее развитие! – Учитель дико захохотал. – Не понимаю, зачем тебя посадили в этот класс. Болван!

Ему нравилось это слово, и он прокричал:

– Болван! Болван! Колченогий болван!

Тут у него немного отлегло от сердца. Он заметил, что Филип густо покраснел. Он приказал ему принести «Черную книгу». Филип отложил своего Цезаря и молча вышел. «Черная книга» была зловещим фолиантом, куда заносились имена учеников и их прегрешения, и, если какое-нибудь имя попадало туда в третий раз, виновному грозила порка. Филип отправился к директору. Мистер Перкинс сидел за письменным столом.

– Пожалуйста, сэр, дайте мне «Черную книгу».

– Вон она, – ответил мистер Перкинс, кивнув головой в сторону. – Что ты там натворил?

– Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс бросил на него быстрый взгляд и, не добавив ни слова, продолжал работать. Филип взял книгу и пошел в класс. Через несколько минут после окончания урока он принес ее назад.

– Дай-ка мне взглянуть, – сказал директор. – Я вижу, мистер Гордон занес тебя в «Черную книгу» за «грубую дерзость». В чем дело?

– Не знаю, сэр. Мистер Гордон сказал, что я колченогий болван.

Мистер Перкинс поглядел на него снова. У него мелькнула мысль, не скрывается ли в словах мальчика насмешка, но тот был для этого слишком взволнован. Филип был бледен, в глазах его застыл отчаянный страх. Мистер Перкинс встал и положил на место «Черную книгу». Он взял пачку фотографий.

– Один из моих друзей прислал мне сегодня снимки Афин, – сказал он, словно ничего не случилось. – Посмотри, вот Акрополь.

Он принялся объяснять Филипу, что было на фотографиях. Он говорил, и Филипу казалось, что руины оживают у него на глазах. Мистер Перкинс показал ему

театр Диониса и объяснил, как сидели зрители: прямо перед ними расстилалось синее Эгейское море. А потом директор вдруг сказал:

– Помню, когда я учился у него в классе, мистер Гордон называл меня «цыганским приказчиком».

И, прежде чем до поглощенного фотографиями Филипа дошел смысл его замечания, мистер Перкинс уже показывал вид Саламина и, водя по фотографии пальцем, ноготь которого был обведен черной каемкой, объяснял, где стояли греческие, а где – персидские корабли.

Глава 17

Следующие два года прошли для Филипа без всяких треволнений. Его изводили не больше, чем других, а физический недостаток, мешавший ему участвовать в играх, позволял оставаться в тени, и это его вполне устраивало. Его недолюбливали, он чувствовал себя очень одиноким. В старшем третьем классе целых два триместра его наставником был Соня. Вялые манеры и полуприкрытые веки придавали ему такой вид, словно ему наскучило все на свете. Свои обязанности он выполнял, но делал это с величайшей рассеянностью. Это был добряк, человек мягкий и недалекий. Он безгранично верил в честность своих учеников; для того чтобы они были правдивыми, нужно было, по его мнению, не допускать даже мысли, будто они могут солгать. «Просите, и дано будет вам», – цитировал он. В старшем третьем классе жилось легко. Было точно известно, какие вам достанутся стихи для разбора, и по шпаргалке, передававшейся из рук в руки, можно было за две минуты приготовить любой ответ; когда задавали вопрос, можно было держать на коленях раскрытую латинскую грамматику; Соня не видел ничего странного в том, что одна и та же несуразная ошибка попадалась в добром десятке ученических упражнений. Он не слишком верил в экзамены, так как заметил, что его ученики никогда не достигали на экзаменах таких успехов, как на классных занятиях; это было досадно, но в общем ничего не доказывало. В положенный срок ученики переходили в следующий класс, не научившись ровно ничему, кроме беспардонного обращения с правдой, что, пожалуй, могло пригодиться им в последующей жизни больше, чем умение бегло читать по-латыни.

Потом они попадали в руки Дегтя. Его настоящее имя было Тернер; этот коротышка с огромным брюхом, черной с проседью бородой и смуглой кожей был самым жизнерадостным из всех старых учителей. В своем облачении Тернер действительно напоминал нечто вроде бочки с дегтем; и хотя из принципа он наказывал всякого, с чьих уст срывалась эта кличка, заставляя переписывать по пятьсот строк греческих или латинских стихов, частенько на учительских вечеринках сам подшучивал над своим прозвищем. Он был наиболее светским человеком из учителей: вращался не только среди духовенства и чаще других обедал в чужой компании. Ученики считали его своим парнем. На каникулах он снимал черное облачение священника, и его встречали в Швейцарии в коротких спортивных штанах в клетку. Он любил распить бутылку вина и вкусно пообедать; однажды его видели в кафе «Ройял» с какой-то дамой – возможно, это была его родственница, – но с тех пор целые поколения школьников не сомневались, что он страшный повеса, и сообщали подробности, которые свидетельствовали об их безграничной вере в испорченность человеческой натуры.

По заверению мистера Тернера, целый триместр уходил у него на то, чтобы подтянуть учеников после их пребывания в старшем третьем классе; время от времени он позволял себе ехидный намек, показывавший полную осведомленность во всем, что творится в классе его коллеги. К обязанностям своим он относился добродушно. Учеников он считал малолетними преступниками, которые говорят правду лишь тогда, когда нет сомнений, что ложь будет разоблачена; у них свои понятия о чести, не распространяющиеся на их отношения с учителями, и меньше всего хлопот они вам причиняют, если уверены, что им это невыгодно. Он гордился своим классом и в пятьдесят пять лет с такой же настойчивостью добивался, чтобы его ученики занимали первые места на экзаменах, как и в начале школьной карьеры. Подобно многим тучным людям, он не умел сердиться подолгу, был вспыльчив, но отходчив, и его ученики вскоре поняли, что, несмотря на всю его воркотню, у него доброе сердце. Тупиц он не терпел, но не жалел сил на шалуна, если подозревал, что тот обладает живым умом. Он любил приглашать учеников к чаю, и они с неподдельным удовольствием принимали его приглашения, хоть и клялись, что, сидя с ним за столом, нельзя дорваться до сдобы и пирожных: существовало убеждение, что его тучность – результат прожорливости, а прожорливость – следствие глистов.

Филипу жилось теперь куда привольнее; в школе было туго с помещениями, и отдельные комнаты для занятий предоставлялись только ученикам старших классов. Спал он по-прежнему в большом зале, который служил одновременно

столовой и помещением, где младшие ученики готовили уроки; правда, близкое соседство других учеников было ему не очень приятно. Временами ему надоедало вечно быть на людях и хотелось остаться одному. Тогда он отправлялся в дальнюю прогулку. Невдалеке средь зеленых полей бежала речка; по обе ее стороны росли подстриженные деревья; сам не понимая почему, Филип испытывал радость, бродя по ее берегам. Устав, он ложился ничком в траву и наблюдал за возней пескарей и головастиков. Странное удовольствие доставляли ему и прогулки в школьном парке. Летом на лужайке происходили спортивные игры, но в другие времена года там было тихо; лишь изредка встретишь гуляющих мальчиков да какого-нибудь прилежного ученика, который с отсутствующим взглядом на ходу заучивает что-нибудь наизусть. На больших вязах жили грачи; они оглашали воздух печальными криками. По одну сторону стоял собор со своей огромной башней, и Филип, который еще понятия не имел о красоте, испытывал, глядя на него, безотчетный восторг. Когда ему и еще троим ученикам отвели комнату для занятий (это была крошечная квадратная комнатка, откуда были видны городские трущобы), он купил фотографию собора и прибил ее над своим столом. С новым интересом стал он глядеть на вид, открывавшийся из окна четвертого класса: на тщательно подстриженный газон и высокие деревья с пышными густыми кронами. Пейзаж пробуждал у него в сердце незнакомое чувство – он сам не знал, была ли то печаль или радость. Это рождалось в нем чувство прекрасного. Происходили с Филипом и другие перемены. Голос его ломался, стал непослушным, и порой из его горла вырывались какие-то странные звуки.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Секты, отступающие от доктрины господствующей церкви, в данном случае – англиканской (баптисты, пресвитерианцы, квакеры, унитарии, методисты и др.). – Здесь и далее примечания переводчиков.

2

В 1833 году в Оксфорде возникло религиозное движение, ставившее целью сближение протестантской церкви с римско-католической; Генри-Эдуард Мэннинг (1808–1892) – английский церковный деятель, кардинал римско-католической церкви.

Купить: https://tellnovel.com/ru/somerset-moem/bremya-strastey-chelovecheskih-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить